

PT 1205235



Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ

РАДУГА

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского
Е. Усневич

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1945



I

г. Вологда

Одна дорога шла с запада на восток, другая с севера на юг. Там, где они скрещивались, на невысоком пригорке расположилось село. Хаты рядами низко присели по сторонам обеих дорог, образуя подобие креста. Посредине на небольшой площади торчала церковная колокольня. Внизу, у подножья пригорка, извивалась по оврагу речка, покрытая льдом и снегом. Лишь кое-где голубая поверхность ее была проломлена и в проломах чернела живая волна.

Из хаты вышла женщина с ведрами. Они покачивались на коромысле в такт ее медленным шагам. Женщина спускалась вниз по склону, осторожно ступая по скользкой дорожке. Она щурилась от солнца. Отражаясь в снежных сугробах, оно ослепляло яркими, острыми лучами. Вот она сошла вниз. Поставила ведра у проруби и оглянулась. Никого не видно. Хаты стояли тихие, будто утонули в снежной перине. Женщина постояла с минуту и, оставив ведра на льду, медленно двинулась вдоль берега, беспокойно озираясь на село вверху.

Речка сворачивала в сторону, в более глубокий овраг, поросший кустами. Ветки едва высывались из-под толстого снежного покрова. Сквозь заросли вела узенькая, чуть заметная тропинка. Женщина свернула туда. Вокруг шелестели обледеневшие кусты, она с трудом пробивалась вперед. Верхние ветки хлестали ее по лицу, она отводила их рукой, острые, покрытые, под налетом пушистого снега, ледяной коркой.

Тропинка внезапно обрывалась. Женщина остановилась и мертвыми, стеклянными глазами посмотрела вперед.

Земля здесь была в холмиках, расщелинах, невысоких пригорках, узких овражках. Кое-где росли одинокие кусты. Но не на заснеженные холмы, не на кусты, не на уцелевшие кое-где с осени красные капли ягод шиповника смотрела женщина.

То тут, то там под снегом обозначались какие-то неопределенные темные очертания. В расщелине виднелась куча лохмотьев. Обломки металла, ломаное, заржавевшее железо пятнами проступали на голубизне снега.

Она ступила еще два шага и медленно опустилась на колени. Он лежал окостеневший, вытянувшись, как струна. И, несмотря на это, казался меньше, гораздо меньше, чем при жизни. Лицо — словно вырезанное из черного дерева. Она водила глазами по этому лицу, лицу знакомому до последней черточки и вместе с тем чуждому. Губы застыли в неподвижности, нос заострился, веки опустились на глаза. Каменное спокойствие было в этом лице. Сбоку, возле самого виска, зияла круглая дыра. По краям ее застыла кровь, неестественно ярко-красная. Кровавый значок на черном.

Видимо, он не сразу умер от этой раны. Видимо, он был еще жив, когда с него стаскивали одежду. Он был жив или был еще теплый. Это не смерть, а руки грабителей выпрямили его ноги, вытянули руки вдоль туловища. В день боя, в тот день, когда он погиб, тогда тоже стоял трескучий мороз и мгновенно хватал в свои клещи убитых, обращал в камень их тела. С мертвого им уж ничего бы не стащить. А его ограбили до последнего, оставили только гимнастерку, сорвали шинель, стащили сапоги, брюки, даже портянки. Голубые кальсоны словно вросли в тело, казались нарисованными синькой на дереве, невозможно было отличить кожу от материи. Голые ступни, в отличие от совершенно черного лица, были белы нечеловеческой, известковой белизной. Одна ступня треснула

от мороза — мертвая плоть отделилась, словно подошва, была видна обнажившаяся кость.

Женщина осторожно протянула руку, коснулась мертвого плеча, почувствовала шершавое сукно гимнастерки и под ней неподвижность камня.

— Сынок...

Она не плакала. Сухие глаза смотрели, видели, впитывали в себя все. И черное, как железо, лицо сына. И круглую дыру на виске, треснувшую ступню и то единственное, что говорило о смертных муках, — искривленные, как когти, сведенные судорогой пальцы, впившиеся в снег.

Женщина тихонько стряхнула с темных откинутых назад волос нанесенный ветром снег. Одна темная прядка лежала на лбу. Она не решалась коснуться ее — прядка прильнула к ране, вросла в нее, облепленная кровью.

Всегда, каждый раз, как она сюда приходила, ей хотелось откинуть эту прядь. Но она боялась тронуть ее, боялась пошевелить, словно это могло причинить боль умершему, разбередить рану.

— Сынок...

Бессознательно сухими губами шептала это одно-единственное слово, будто он мог услышать. Будто мог поднять тяжелые, почерневшие веки, взглянуть родными серыми глазами.

Женщина застыла в неподвижности, прильнув глазами к черному лицу. Она не чувствовала мороза, не ощущала онемения в коленях. Она смотрела.

С дерева, одиноко торчавшего над оврагом, поднялась ворона. Она тяжело взмахнула крыльями, описала круг и опустилась на ворох тряпья под кустом. Наклонила голову, всмотрелась. Рыжие пятна крови пропитали насквозь простреленное пулями сукно. Птица с минуту была неподвижна, словно раздумывала. Потом ударила клювом. Раздался стук. Мороз сделал свое дело: все, что осталось здесь месяц тому назад, превратилось в камень.

Женщина очнулась от мертвой неподвижности.

— Кыш!

Ворона тяжело поднялась и опустилась в нескольких шагах на засыпанную снегом человеческую фигуру.

— Кыш!

Она подобрала смерзшийся комок снега и бросила в птицу. Ворона подпрыгнула и лениво перелетела на свое прежнее место, на дерево. Женщина поднялась с колен, вздохнула, еще раз взглянула на сына и свернула из тропинку.

Она наклонилась над прорубью, набрала воды и стала медленно подниматься вверх, сгибаясь под тяжестью полных ведер. Солнце за это время поднялось выше, но мороз не уменьшился. Снег был голубой, и женщина не знала, голубой ли он на самом деле, или ее глаза отравлены той голубизной, голубизной вмерзшей в тело матери на неподвижно вытянутых, известково белых, страшных ногах сына.

Перед хатой топтался озябший часовой. Он переступал с ноги на ногу, подергивая плечами, засовывал руки подмышки, растирал окаменевшими пальцами щеки. Трескучий мороз безжалостно пробирался сквозь плохонькие сапоги, сквозь летнюю зеленоватую шинель, кусая за пальцы, щипля глаза. Часовой пристально оглядел женщину, хотя знал ее уже давно, с первого дня, когда его часть заняла село. Она прошла мимо, словно не видя его. Дверь заскрипела, клубы пара ворвались в сени.

— Что так долго? Прямо дожидаться вас невозможно!

Она не ответила, прикусила губу, подошла к печке и долила воды в стоявший на огне горшок. Подбросила дров в едва тлеющие угли.

— Налейте воды в стакан, пить хочется.

— Вода в ведре. Возьми,— сухо ответила женщина.

Та сердито дернулась под одеялом.

— Погодите, придет муж, я скажу ему!

Женщина пожала плечами. Муж, как бы не так...

Она неторопливо подкладывала в печь сухие дрова. Да, да, так уж, видно, суждено. В селе триста дворов, и из каждого кто-нибудь да пошел на войну. Только ее сын лежит там в овраге у речки, и месяц уже его не дают похоронить. Целый месяц лежит он в снегу, и мороз превращает его лицо в черное железо, и расщепляет, словно дерево, его ноги, и покрывает синевой пальцы. Лежат там и другие, тоже свои, но все же не сыновья, не братья, не мужья, никого из здешних. Один только он. Одному ему суждено было пасть здесь, под родным селом, в двухстах шагах от родной хаты. Одной только ей суждено смотреть, как над непохороненным телом сына кружатся голодные вороны. И как раз у нее, будто нарочно, в насмешку, занял квартиру для своей любовницы немецкий офицер. И хоть была бы эта любовница немка, привезенная издалека, чужая, с непонятной речью, такая же враждебная и ненавистная, как все эти, в зеленых шинелях. Так нет же, надо случиться иначе, надо случиться, чтобы это была здешняя, продажная, за шелковые чулки и французское вино предавшая родину, близких, собственного мужа-командира, тех, что лежали там, убитые в овраге, предавшая все. Внутренности переворачивались, и страшное омерзение наполняло сердце при мысли, что вот она нашла приют под этой крышей, валяется на перине, покрикивает, разыгрывает в этом доме барыню. Нет, она не стыдится, не ходит с опущенными глазами, не краснеет при встречах с людьми. Ходит довольная, наглая, заставляет прислуживать себе.

— Подожди, подожди,— шейгала женщина в разгорающийся огонь, не обращая внимания на доносившуюся из горницы брань.— Ох, будет тебе, будет, так будет, что ты сто раз пожалеешь, что на свет родилась.

Она не оглянулась, услышав в сенях быстрые, тяжелые шаги. Она и так знала, знала, кто идет. И только лицо ее застыло в каменной неподвижности.

Офицер прошел в горницу, не обращая внимания на возмущенную у печки женщину.

— Что это, ты еще спишь?

Лежащая капризно надула губы.

— А зачем вставать? Тебя все нет и нет... Скучно... Ты себе ходишь, а я здесь с этой противной бабой... Вот увидишь, она еще отравит меня...

Он присел на край кровати.

— Глупышка... Ты здесь хозяйка, понимаешь?.. Ну, чего ты скучаешь? Заведи патефон, у тебя столько пластинок, читай. Я же и так провожу с тобой каждую свободную минуту. Но ведь война... То и дело что-нибудь новое.

Она вздохнула.

— Война, все война... Ты мог бы уж, наконец, взять отпуск и забрать меня отсюда.

Офицер пожал плечами.

— Глупенькая. Теперь не время для отпусков. А отправить тебя одну в Германию, так что ты там будешь делать? Лучше уж вместе.

Она не ответила. Медленно поднимаясь, протянула руку за лежавшим на стуле бельем. Он пересел на лавку и смотрел на нее. Да, она нравилась ему. Иначе он не таскал бы ее за собой целых три месяца. Она была иная, совсем иная, чем женщины, к которым он привык, и иная, чем женщины, которых он встречал здесь.

— Ах да, послушай, Пуся, кто-то мне говорил, что здешняя учительница твоя сестра?

Рука с чулком повисла в воздухе. Пуся склонила голову к плечу с грацией больной обезьянки. Да, вот это и было в ней привлекательно. Хрупкий, маленький зверек.

Детской рукой она отвела за ухо волосы. Эти уши были такие смешные, узенькие, треугольничком, как уши зверька. И зубы треугольные — только сейчас, после трех месяцев знакомства, он заметил это. Теперь она прикусила ими бледную губу.

— Ну и что?

Она еще раз поправила волосы.

Сверкнули треугольные ногти, покрытые красным лаком, словно коготки, обогранные кровью.

— Ну да, сестра. И что из этого?

— Не очень она любит нас, твоя сестра.

В круглых черных глазах Пуся сверкнула искорка познания.

— А она... она поправилась тебе?

Он рассмеялся хриплым, кудахтающим смехом.

— Нет! Выдумашь тоже! Я не люблю полных блондинок. Ноги у нее толстые, как...— Он хотел сказать: как у моей жены, но во-время удержался.

Пуся с удовлетворением взглянула на свои коротковатые, но стройные ноги.

— Да, это верно, она немного толста...

— Ты никогда не говорила, что у тебя здесь сестра.

— А зачем? Она жила здесь, я там, мы почти никогда не встречались. Она совсем другая.

— Какая другая?

Пуся задумчиво заправляла волосы за ухо. Сверкнуло стеклышко сережки.

— Она учит детей, работает, работает... А что за это имеет? Ничего. И всем довольна, все ей нравится.

— Большевичка, одним словом?

— Кто ее знает... Может, и большевичка,— ответила она лениво и вдруг снова оживилась:

— А ты почему так расспрашиваешь про нее? Говоришь, что она тебе не понравилась, а все расспрашиваешь?

— Так расспрашиваю. Если я ею и интересуюсь, то не как женщиной, будь уверена, не как женщиной.

Пуся не заметила особой нотки в его голосе. Она старательно натягивала на ноги чулки, надевала через голову шелковую комбинацию.

Он вытащил из кармана сверток.

— Ну, крошка, я, собственно, забежал только на ми-

нутку, передать тебе шоколад. Надо идти, у меня сегодня куча работы. Займись чем-нибудь до вечера. Я приду не поздно.

Она сделала гримаску.

— Одна, одна, целый день одна... Когда же эта война кончится?

— Кончится.

— Хорошо тебе говорить...

Она развернула цветную бумагу и погрузила треугольные зубы в шоколад, сразу во всю плитку, не отламывая кусочков.

— Заведи патефон. Обед тебе принесут. Ну, до свидания.

Он небрежно поцеловал ее и вышел. Часовой все еще топтался перед хатой, стараясь согреть ноги. Он вытянулся при виде офицера. Тот миновал его и свернул к площади. Большой дом, где раньше помещался сельсовет, был полон солдат и унтер-офицеров. Они вытягивались и козыряли, он едва отвечал. В комнате серыми клубами плавал дым.

Офицер толкнул дверь своего временного кабинета.

— Привести ее.

Он сел за стол и зевнул. Позавидовал Пусе, что она до сих пор валяется в постели, а ему вот пришлось вскочить чуть свет, и весь день был полон незаконченных дел.

Солдаты ввели женщину в толстом полушубке, в темном платье. Он недоверчиво взглянул на нее.

— Это она?

— Она.

Она как-то неловко и тяжело стояла перед столом. Из-под платка выбивались седые на висках волосы, лицо было простое, грубо вытесанное, обыкновенное крестьянское лицо.

— Фамилия?

— Костюк Олена.

Он вертел в руках карандаш, исподтишка рассматривая стоявшую перед ним женщину.

Одно из двух: или солдаты ошиблись, или, судя по определенной, решительной линии подбородка, по глядевшим прямо ему в лицо глазам, предстоит долгое, кропотливое следствие.

— Ты была в партизанском отряде?

Она не смутилась, не испугалась и, не сводя с него глаз, ответила:

— Я была в партизанском отряде.

— Ага... Так, так...— Это неожиданно быстрое признание удивило его. Он машинально рисовал на лежавшем перед ним клочке бумаги гирлянду каких-то причудливых листьев.

— А почему ты вернулась в село? Зачем они тебя прислали?

— Меня никто не прислал. Я сама пришла.

— Так. Сама... А зачем это?

На этот раз она не ответила. Темные глаза смотрели прямо в худое, костлявое лицо офицера, в его бесцветные глаза, окаймленные выцветшими ресницами.

— Ну?

Она молчала.

— Как же так? Была в отряде, а потом вдруг приходишь домой, в село? Что у вас, никакой дисциплины нет? Лучше скажи сразу, зачем прислана.

— Я сама пришла. Не могла больше.

— Не могла... Почему же? — заинтересовался он.— Плохо пошли дела, а? Командира, что ли, застрелили при последнем нападении, да? Отряд распался?

— Об отряде я ничего не знаю. Я пришла-домой.

— Что же так, вдруг?

Она беззвучно пошевелила губами.

— Убедилась, что все это бредни, преступление, бандализм? Не захотела больше?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Нет... я больше не могла.

— Почему же?

Она сделала видимое усилие. Потом сказала прямо в эти водянистые, моргающие бесцветными ресницами глаза:

— На роды пришла домой.

— Что такое?

— Рожать пришла...

— Вот оно что...

Он засмеялся, и она вздрогнула от этого кудахтающего, хриплого смеха.

— Холодно, что ли? Наотплено, а ты закутана, как на морозе. Сними платок!

Она послушно скинула с плеч тяжелую, толстую шаль и положила на скамью.

— Пальто сними!

Поколебавшись мгновение, она расстегнула петли и сняла полушубок. Он пристально вглядывался. Да, никаких сомнений быть не могло. Последний месяц беременности.

Женщина тяжело дышала. Он понимал, что ей трудно стоять, и нарочно тянул, вертел в руках карандаш, все медленнее задавал вопросы, выжидал.

Она сразу отвечала на все, что касалось ее лично. Да, замужем. Муж погиб на войне. Раньше, до революции, она работала в экономиях, жала господский хлеб, доила господских коров. После революции работала в колхозе. В партизанский отряд пошла, как только он сформировался. Свое положение от них скрывала. Когда стало трудно двигаться, когда подошло время рожать, вернулась в село. Хотела спокойно родить ребенка.

— Так... Спокойно родить ребенка...— повторил он.— Ты на прошлой неделе взорвала мост?

— Я.

— Кто тебе помогал?

— Никто. Я сама.

— Лжешь. Мы же знаем — лучше сразу скажи.

— Никто. Я сама.

— Ну, хорошо, а где твой отряд?

Она молчала. Темные глаза спокойно смотрели в лицо офицера. Он вздохнул. Начиналась старая история. Упрямое молчание, долгое, бесконечное следствие, все возможные средства и способы и — как правило — все понапрасну. Он знал: человек или сразу начинает говорить, или из него ничего не выгнешь. На этот раз его ввели в заблуждение первые ответы. Но правильно было внешнее впечатление — упрямые линии подбородка, уверенные и решительные очертания губ. Да, о себе она говорила, о себе она говорила все. Но о других — ни слова.

— Ну, откуда ты пришла в село?

Молчание. Он нервно постукивал карандашом по столу, не глядя на подследственную. Его вдруг охватила скука, отвратительная, липкая, безнадежная скука. Не лучше ли бросить все и идти к Пусе, а следствие поручить кому-нибудь другому? Но ему хотелось выжать хоть что-нибудь об отряде, который давал себя чувствовать всей округе, а на сообразительность своих помощников он мало полагался. Притом им приходилось пользоваться тупым и, в сущности, плохо знающим язык переводчиком. А сам он свободно владел языком, даже двумя: и украинским, и русским. Он готовился к иной работе в этих местах. Впрочем, языкигодились и во время войны, время, проведенное за их изучением, не пропало даром.

— Ну, так как? Командира отряда зовут Кудрявый? Но ведь это прозвище, ты скажи, как его настоящая фамилия?

Молчание. Он видел, что она смертельно устала. Капли пота выступили на ее висках, лбу, в впадинах возле носа. Морщинки у губ стали глубже, руки бессильно висели вдоль туловища.

— Ты будешь говорить или нет?

Он вдруг почувствовал, что сам устал. Ах, плюнуть бы на все и пойти домой. Интересно, Пуся встала, наконец, или, пользуясь его отсутствием, опять нырнула под одеяло?

Но Пелагея не спала. Она долго надевала платье, долго смотрелась в зеркало. Завела патефон, но знакомый мотив быстро надоел. Захотелось поболтать с кем-нибудь. Но с кем?

Пуся вышла в кухню, зачерпнула воды из ведра и напилась. Федосья Кравчук сидела у печки на низенькой скамеечке и чистила картошку. Пуся присела на лавку под окном и смотрела, как между пальцами женщины тянется узкая лента шелухи, сворачивается, падает вниз в корзинку.

— Какая мелкая картошка,— сказала она.

Федосья ничего не ответила.

— Здесь всегда такая?

Молчание.

— Что это вы мне совсем не отвечаете?

Женщина подняла голову и взглянула. Молча, равнодушно, холодно. И снова наклонилась над своей работой.

— Вот так посмотрела. Да что я, не человек, что ли? Целый день слова сказать не с кем, умереть можно!

Ей стало жаль себя, вдобавок ее тошнило, и она подумала, что надо было часть шоколада отложить. Но она никогда не могла удержаться и не съесть сразу всего, что приносил Курт.

Картошка плюхнулась в горшок. Вода расплескалась по глиняному полу.

— Кажется, я вам ничего дурного не сделала, ведь нет?

Серые глаза окинули ее быстрым, внимательным взглядом. Но ответа она снова не получила.

— Сижу и сижу одна... Курт забежит на минутку и опять уйдет... Ни поговорить с кем-нибудь, ни посидеть...

а тут мороз, выйти невозможно. Я тут с ума сойду. Патефон и патефон, я уж все наизусть знаю. А вы любите патефон?

Она гневно сжала кулачки, так что острые ногти впились в ладонь.

— Почему вы мне не отвечаете? Зачумленная я, что ли? Федосья подняла голову.

— Ты хуже зачумленной, хуже! И умрешь хуже, чем от чумы умирают.

Пуся от изумления застыла с открытым ртом. Ее круглые глаза расширились. Она вообще не думала, что эта Кравчук заговорит. И вдруг она заговорила, прервала это нелепое, целый месяц продолжавшееся молчание. И как заговорила! Что делать? Закричать, подойти, ударить, расплакаться или встать и пойти к себе, завести самую веселую, самую шумную пластинку?

Неожиданно для самой себя она не осуществила ни одной из этих возможностей.

— Чего вы от меня хотите? Что мне было делать? Подохнуть с голоду? Ждать? Чего ждать? Они здесь навсегда останутся! Надо же мне как-то устроиться... Сережа, наверняка, давно погиб... А Курт неплохой человек, я знаю, он неплохой человек, и я не хочу здесь больше жить, хватит с меня всего этого! А он меня возьмет к себе в Дрезден, там лучше, чем здесь. Что у меня здесь за жизнь была? Ни одеться, ничего. Из-за каждой пары чулок ломай себе голову, порвутся, так что делать? Легко другие достать?

— Вот-вот, тут ты и вся... Это самое я и говорю... Чулки... Сестра у тебя порядочный человек, учительница, все как следует. А ты — чулки... Вот только назвать-то тебя всохота, как следует... А твой Курт никуда тебя с собой не возьмет. Бросит, как всех таких потаскушек бросают. Еще раньше бросит, чем самому придется удирать, а уж придется! Ничего, сиди себе тут спокойно, спи с немцем на моей перине. Уже недолго вам обоим тут сидеть,

не долго! Придут наши, они тебе покажут, где раки зимуют!

Пуся съежилась на лавке. Спокойные слова хлестали, как кнут! Вдрагивающим от бешенства голосом она выдала из себя:

— Ладно, ладно, вот я скажу Курту, почему вы так долго по воду ходите! Как только придет, скажу!

Женщина вскочила. Очищенная картошка покатила по полу. Со звоном упал нож. Наклонившись вперед, с окаменевшим лицом она пошла прямо на Пусю, а та, побледнев от страха, подобрала ноги под лавку и, словно для защиты, подняла руки к груди.

— А ты откуда знаешь, куда я хожу? Ты-то откуда знаешь?

Но Пуся уже вспомнила, что под окном ходит часовой, достаточно только крикнуть, и успокоилась.

— Я знаю все, что мне надо.

— Ах, ты...

Федосья подавила в себе желание схватить за горло, задушить, растоптать это маленькое черное создание, похожее на притаившуюся крысу. Ее охватило невыразимое отвращение при мысли, что придется коснуться этого хрупкого, слабого тела, отвращение здорового, нормального человека к извращенности и болезненности. Она сплюнула, вернулась на свою скамейку у печки и торопливо принялась за картошку; из ее рук снова поплыла лента шелухи, захлюпала вода в горшке, брызгая на пол. А Пуся, высоко подняв голову, отправилась в горницу заводить патефон. Поискала пластинку. Сначала ей захотелось веселую, самую веселую, но в последнюю минуту она почувствовала в горле слезы обиды и жалости к самой себе и выбрала другое.

Федосья чистила картошку и чувствовала, как у нее холодеет сердце. Значит, эта знает. Знает и наверняка скажет немцу. Она таила это в себе до поры до времени, как змея жало. А теперь отомстит и скажет.

В горнице низкий, томный голос пел:

«Камни горит...»

Что будет? Она не сомневалась, что офицер этого так не оставит. До сих пор оставалось в силе запрещенное хоронить погибших в последнем бою. Пусть они лежат там, в овраге у села, во власти вихрей, морозов и ворон. Пусть они лежат там, нагие, ограбленные, на страх другим, предостереженные другим, как знак немецкого торжества. Сначала крестьяне пытались похоронить убитых. Но не удалось: овраг был под постоянным наблюдением. Молодой Пашук подкрался ночью с лопатой к этому месту, с той ночи он лежит там вместе с ними, с пулей в груди, головой в сугроб. Так все и осталось. Люди поняли, что ничего не поделаешь.

Но из всего села ни у кого не было там сына. Только у все. Только одному Васе суждено было очутиться в отряде, который проходил через село. Какое это было счастье тогда!.. Он неожиданно вбежал в избу, веселый, смеющийся, как всегда. На мгновение, на короткое мгновение. А на рассвете подошли немцы, захватили врасплох, и Вася оказался как раз в той партии, которая была окружена и до последнего уничтожена в овраге.

Она нашла его в тот же день. Сердце привело ее прямо к тому месту, где он лежал. Он был уже мертвый, с него уже успели сорвать одежду.

И каждый день с тех пор, вот уже месяц, она ходила туда и смотрела на сына, как он коченеет, как меняется, как чернотой железа чернеет на морозе его лицо, как мороз разламывает его нагую ступню. Она уже привыкла к тому, что каждый день, а то и два раза в день, идя по воде, может увидеть свое мертвое дитя. А теперь? Что будет теперь?

«...Нежность, любовь, ласка, мечты обо мне...» — пел патефон.

Он этого так не оставит, не простит. Она боялась не за себя. Она боялась за свое дитя, за свое мертвое дитя, по-

гибнше там, в овраге, замороженное, окаменевшее, за сщдѣ дтя с круглой дырой от пули в виске. Словно ей предстоало потерять его еще раз — заберут, бросят куда-то в безвестную яму, надругаются, изуродуют, изувечат — это они умеют, ох, как умеют...

«...Нежность, любовь, ласка, мечты обо мне...»

Невыносимо раздражал патефон.

Пуся разменталась и в десятый раз заводила ту же пластинку. Патефон пѣл о любви, которая минула, о счастье, которое ушло, о письмах, которые уже ничего не значат. В той мрачным мыслям сидевшей у печки женщины патефон пѣл нежные слова. Федосья Кравчук, не чувствуя боли, сжала в пальцах тугой нож. Канелька крови выступила из пореза. Она вытерла руки концом передника.

«...Камни горят...»

Что делать? Как поступить? Ей казалось, что нужно спасти жизнь Васи, спасти его от чего-то ужасного и жестокого, более жестокого, чем сама смерть. Но как?

Она знала, что забрать его оттуда нельзя. Он вмерз в снег, сросся с ледяной корой. Только весной оттепель освободит его из ледяной постели. Но если бы даже... Как его поднять, хотя он уменьшился и стал теперь таким, каким был в пятнадцать-шестнадцать лет? Как его поднять, куда его нести, где его спрятать от глаз убийц?

«...Нежность, любовь, ласка...»

Его будут касаться омерзительные немецкие лапы. Его будут толкать неадекватные немецкие сапоги. Над ним будут с хохотом скалиться скотские немецкие морды, зазвучит хриплый, кудахтающий смех капитана Курта Вернера. Федосья ломала руки в безысходном отчаянии, в полной беспомощности. Она забыла о картошке, забыла об огне, который покрывался все более толстым слоем пепла, и сидела неподвижно, стеклянными глазами глядя прямо перед собой.

Думалось, что хуже не может и быть, что все удары уже обрушились на ее сердце. И вот оказалось, что нет.

Нет конца, нет края, черная туча, надвинувшаяся на село в декабрьский день, грозит еще неисчислимыми бедствиями каждую минуту.

И вдруг ее пронизала мысль: откуда эта знает? Кто ей сказал?

В памяти замелькали знакомые образы. Учительница? Нет, Федосья торопливо отвергла это подозрение. Ни в коем случае. Кто же?

В селе знали, знали, конечно. Но ведь это были все свои люди. Пелагея никуда не ходит, с ней никто не разговаривает, откуда она могла узнать? Кто предал в руки врага горе матери, кто предал немецким палачам труп Васи, его кровь, его смерть, его муку?

Патефон заскрежетал и умолк. Пуся натянула на ноги валенки, старательно застегнула шубку. Она была немного велика, эта шубка, которую Курт сорвал с кого-то в местечке и подарил ей, своей жене. Но она была теплая, можно было засунуть руки в рукава, большой пушистый воротник защищал от мороза щеки.

Пуся вышла из сеней и прямо-таки задохнулась. Воздух был прозрачен, как лед, и холоден, как лед. Огромная стеклянная глыба, заполнившая весь мир. Снег голубел в местах, куда падала тень, а на солнце искрился, как алмаз, горел, сверкал, резал глаза безжалостным блеском. С холма, на котором расположилось село, видна была раскинувшаяся направо и налево бесконечная равнина, ослепляющая белизной и лазурью. Мороз хватил в клещи землю и небо, мороз держал в своих тисках село, тихонько прикорнувшее на перекрестке двух дорог.

Пуся посмотрела в сторону хат. Кое-где суетились солдаты, на площади перед церковью чернела артиллерийская батарея, там тоже стояли солдаты. Никого из жителей не было видно. Она двинулась вперед, решив навестить Курта на работе.

На краю площади торчала виселица, два столба с пере-

кладной. Посредине висел человек. Пуся равнодушно прошла мимо этого символа власти Курта в селе. Она при-выкла к этому зрелищу — молодой парень уже висел здесь, когда она месяц назад приехала к Курту. Он окончел, застыл, потерял человеческий вид и был теперь больше похоже на кусок дерева, чем на человеческое тело. Снег громко скрипел, словно она ступала по стеклу, неприятно скрежетал и повизгивал. Она шла по совершенно пустой улице, окна хат, снизу доверху затканые белой пеленой инея, казались подернутыми пленкой, были похожи на затянутые бельмом глаза. Редко из какой трубы поднимался дым — это были хаты, где квартировали немцы. В других никто не варил пищи, не из чего было.

Дверь одного из домов приоткрылась, высунулась светловолосая голова, но при виде идущей снова торопливо спряталась, дверь захлопнулась. Пуся пожала плечами. И вправду они избегали ее, как зачумленной, старались не столкнуться с ней даже случайно. Дети поспешно удирали, если им случалось попасться на ее пути. Ну и пускай, пускай себе! Все равно они все подохнут с голода и холода, такова их судьба. А она вот ходит живая и здоровая, у нее прекрасная шуба, она может вволю грызть шоколад, а потом поедет в Германию с мужем-капитаном. Каждый сам кузнец своей судьбы — они выбрали, и она выбрала. Дураки, они верят в то, чего никогда не будет, ожидают того, что никогда не наступит. Им придется горько разочароваться. Курт растолковал, объяснил ей, почему немцы обязательно должны победить и почему все эти людишки здесь должны погибнуть, если не будут честно работать на немцев. Но они не хотят ничего понимать, хотя все это так просто. Они ждут своих, — она, Пуся, вовсе по ним не скучает. Разве ей сейчас не лучше живется? Гораздо лучше.

Снег скрежетал под ногами, глаза болели от блеска. Когда, наконец, кончатся эти проклятые морозы? Она мечтала о тепле, ей хотелось свернуться, как конике, на

солнце и греться, прогреться до последней косточки, всем телом почувствовать ласковое солнечное тепло. А теперь даже ослепительно свежее солнце казалось ледяным осколком, казалось, что и оно распространяет холод.

Часовой у дверей сразу пропустил ее. Она постучала и, не ожидая ответа, не обращая внимания на беспокойство помощников Курта, вошла в кабинет.

— Что случилось?

— Ничего не случилось,— ответила она капризно.— Я соскучилась по тебе.— Она внимательно окинула взглядом стоявшую у стола женщину. Пожилая, уже седеющая женщина, с большим животом, беременная. Пуся присела на краешек стула.

— Ты скоро кончишь?

— Я же говорил тебе... Видишь, я занят,— он был явно раздражен, оттащил ее к окну и сердито зашептал:

— Сколько раз я тебя просил не приходить сюда! Ну, на что это похоже? Я занят, ты же видишь, что я занят. Как только освобожусь — приду.

Она надула губы, как обиженный ребенок.

— Мне так страшно, так ужасно скучно. Ты бы хоть пришел пообедать вместе! Мне так грустно... Тебя все нет и нет... И что за удовольствие разговаривать с какой-то старой бабой! Что, этого никто другой не может сделать?

— Вот не может. А эта старая баба — партизанка, понимаешь?

Пуся остолбенела.

— Партизанка! Курт, что ты говоришь, посмотри на нее, она же вот-вот родит!

— Ну, вот видишь,— отрезал он.— Иди-ка, иди, я приду.

Покорным движением она погладила его рукав.

— Курт, мой золотой, я посижу минутку, послушаю, хорошо? Ну, что тебе мешает?

— Ну, сиди, только это тоже скучно,— решил он, махнув рукой, и подвинул ей стул.

Она расстегнула шубку и села. Бессмысленная улыбочка

не сходила с ее губ, круглые черные глаза смотрели на стоявшую у стола женщину. Значит, это партизанка,— это смешно, ах, как это смешно... О том, что Курт боялся партизан, она знала, хотя он никогда бы не сознался, что боится чего-то. А партизан он боялся, она чувствовала это, и, неизвестно почему, это доставляло ей маленькое торжество. Есть же что-то, чего боится самоуверенный, непобедимый Курт, у которого на все есть готовый ответ и для которого все всегда ясно и просто.

Нет, она представляла себе партизан не так. Она думала, что это великаны, вооруженные топорами, обросшие волосами, таинственные люди, скрывающиеся в лесах, не боящиеся ужасающих морозов, которые уже столько времени сковывают весь белый свет. А тут — обыкновенная деревенская баба, вроде Федосьи Кравчук, вдобавок беременная. Пуся покосилась на огромный, торчавший вперед живот, вздымавший порывевшую черную юбку. Она онутила радость, что сама она маленькая, стройная, что она спокойно сидит, закутанная в мягкий мех, а когда захочет, может встать и идти легкой походкой, может завести патефон, потанцевать с Куртом. Хоть сегодня же вечером.

Курт мертвым, усталым голосом задавал вопросы. Та отвечала. Сначала Пуся вслупливалась в вопросы и ответы, но скоро поняла, что это и вправду неинтересно. И не только не интересно, а даже глупо. Курт все время спрашивал об одном и том же, а эта все время отвечала одними и теми же словами.

Олена уже смертельно устала. Перед глазами мелькали черные пятна, черная волна, поднимаясь откуда-то из-под стола, застилала глаза. Приходилось напрягать всю волю, чтобы выбраться из нарастающей, заливающей все кругом тьмы, и тогда из кружащегося мрака выплывал офицер за столом, лежащие перед ним бумаги, стекла окна за его спиной. Она чувствовала, как ее лицо начинает покрывать пот, холодный, липкий, неприятный. Руки стали тя-

желые, как гири, ноги нестерпимо болели, наверно, очень опухли. Сколько же это времени она стоит здесь? Час, два, три? А может, больше, может, уже целый день? Хотя нет, солнце за окном светит еще ярко, значит, все это продолжается не так долго, как кажется.

Болели бедра, болели все внутренности, будто кто-то медленно вытягивал из нее жилы. А теперь вдобавок еще пришла эта. Олена знала о ней, знала, кто это. И вот она сидит тут, глаза круглые, как пуговицы. Вот она сняла меховую шапочку и заправляет рукой волосы за ухо. Утомленные глаза жепщины поймали блеск стеклышка в серьге и остановились на нем. Стеклышко сверкало, мелькал крохотный огонек, потом снова начинала клубиться тьма, и из ее кружащихся волн пробивался только этот острый лучик. Олена зашаталась, но сжала кулаки и снова выпрямилась. Нет, нет. Только не упасть, не упасть здесь, на глазах у этой офицерской любовницы, что продала своих и пошла в офицерскую постель, а теперь сидит в мехах, поблескивает серьгами и с улыбкой на губах смотрит на беременную женщину, пытаемую немецким офицером, как на зрелище.

Бессмысленная улыбочка словно прилепилась к губам Пуси, но она и не думала об Олене, не слышала вопросов и ответов. Ей было тепло, и приятно было думать, что вот она сидит в кабинете Курта, одна-единственная, которая может свободно войти и выйти, когда захочет. А их приводят солдаты со штыками и выводят туда, откуда никогда никто не возвращается. И что все боятся Курта, а Курт принадлежит ей, только ей, и она может привередничать, капризничать, и Курт называет ее обезьянкой и возьмет её с собой в Дрезден...

— Ведь ты мать,— сказал Курт, и Олена, у которой уже мутилось в голове, ухватилась за это слово, как утопающий за доску.

Ну, конечно, она мать. Нет, немецкому офицеру и в голову не пришло, что он ей помог. помог как раз в тот мо-

мент, когда под ней заколебалась земля, странная слабость охватила тело и все вокруг смешалось и потонуло во мраке.

— Ты мать...

Кто это сказал? Немецкий офицер за столом или Кудрявый, веселый рябой парень, там в лесу, командир отряда?

— Ты мать...

Она думала не о том ребенке, которого послала под сердцем, который отнимал дыхание у ее легких, мешал ей выпрямиться. Она думала о тех в лесу, о всех тех, что называли ее матерью. Она была много старше всех, много старше. И она ходила в разведку, взорвала мост, но настоящим, основным своим делом считала не это. Она стирала, готовила, ухаживала за ребятами, о которых ведь некому было позаботиться. Лечила больных, перевязывала раненых, чинила изорванную одежду. Так это делает обычно мать. Они и называли ее матерью.

— Ты мать...

Она восприняла эти слова, как призыв тех в лесу, тех, чья жизнь теперь зависела от одного ее слова. Как напоминание о долге. Как их привет, доносящийся издали их голос.

— Где скрывается отряд?

Она помнила каждую тропинку, каждый куст, каждое дерево в лесной чаще. В памяти ясно возникла дорога, о которой спрашивал офицер. Она даже испугалась, что водянистые глаза в каемке светлых ресниц могут увидеть, проследить в ее мыслях эту дорогу. Скорей, скорей думать о другом — о своей хате, о речке, о соседях. Но в памяти упрямо возникали тропинка и землянки над елями, и веселое лицо Кудрявого, рябое, смешное лицо. Шестнадцать парней — и она мать. Да, там в лесной чаще было шестнадцать ее сынов, шестнадцать отважных, неустрашимых сыновей. Сыновей багрячки, что долго ждала, пока дождалась своего счастья, счастья свободного человека, не знающего плетки господского приказчика.

— Ничего я не знаю об отряде. Ушли, а куда ушли, не знаю.

Курт сжал кулак. После четырех часов допроса он был на той же мертвой точке, что в начале его. Он сердито сложил бумаги.

— Ганс!

В комнате появился солдат.

— Увести ее — и в сарай. Посидишь в холодке, может, это тебя отрезвит. Посидишь, подумаешь, а когда надумаешь, позови часового. Он даст мне знать. — Гневным движением он запер ящик.

— Пойдем, Пуся. Пообедаем вместе.

Пуся подпрыгнула от радости. Все-таки она хорошо сделала, что пришла. Если бы не это, он наверняка сидел бы здесь до вечера.

Белизна снега снова ослепила ее. Сапоги Курта скрипели по снегу еще громче, чем ее валенки. Ледяной воздух резал щеки.

— Это еще что?

Она остановилась и взглянула, куда показывал Курт. Вдали, там, где лазурь равнины сливалась с холодной лазурью неба, расцветала радуга, сияющий цветной столб поднимался ввысь и исчезал, таял в недостижимой высоте. Зелень, лазурь, розовые и фиолетовые краски, хрустально прозрачное видение, чистое и легкое, как цветочный пух.

— Радуга, — сказал изумленный Курт. — Радуга зимой... У вас это бывает?

Пуся минутку подумала.

— Нет, кажется, не бывает, я еще никогда не видела.

Курт все стоял, глядя на сияющий красочный столб, соединявший небо с землей.

— Идем же, холодно, у меня ноги замерзли..

— Говорят, что радуга — это доброе предзнаменование...

— Радуга как радуга,— потеряла, наконец, терпение Пуся, потянув его за рукав.

В эти несколько минут столб вытянулся, изогнулся, и радуга триумфальной аркой раскинулась над землей, розовая, фиолетовая, зеленая, сияя насыщенным золотом прозрачным блеском. Небо вздулось стеклянным куполом, накрыло землю стеклянным колоколом. На площади у срудий солдаты, задрав головы, смотрели во все глаза на необычное явление.

Когда они пришли домой, Федосья Кравчук стояла перед хатой. Она тоже смотрела на радугу. Спокойно, внимательно, пристально.

— Говорят, радуга доброе предзнаменование,— сказал, проходя офицер.

Старая крестьянка пожала плечами.

— Да, да, говорят, радуга доброе предзнаменование,— странным тоном ответила она и посторонилась, чтобы пропустить их в сени. Сама она осталась на пороге. В одной юбке и кофте с голыми руками, забыв о трескучем морозе, она не сводила глаз с сияющего видения, с раскинувшейся по небу триумфальной арки, переливавшейся всеми красками, насыщенной мягким, золотым, все пронизывающим блеском.

II

Пуся свернулась клубочком, всунула голову подмышку Курту и спала, тихо, ровно дыша, как маленький зверек. Офицер лежал навзничь, похрапывая. Федосья Кравчук на печке в кухне слушала этот храп. Он невыносимо раздражал ее, ей казалось, что именно этот храп не дает ей спать. Широко раскрытыми глазами она смотрела в окно, где лунный свет искрился на стеклах, покрытых толстой корой изморози. Призрачный голубой свет проникал внутрь, от стола, скамейки, от стоявшего на полу ведра падали странные, пугающие тени.

Но все-таки это была, наконец, ночь. День, наконец, кончился. Еще один день. Она уже не слышит кудахтающего смеха офицера и умильного сюсюканья его девки, не встречает косых, коварных взглядов, которые та бросала на нее целый вечер. Видно, решила немного позабыться, не говорить сразу. Нет, она ничего не сказала. Она искоса с улыбочкой следила за Федосьей, радовалась, что держит ее в своих руках, что в любой момент может нанести ей удар. Она радовалась своей минутной властью. Теперь она может сделать, что захочет, с сердцем матери, в ее власти и сын, лежащий там, в овраге на снегу. В любой момент она может выдать его в мерзкие немецкие руки, в любой момент может нарушить его мертвый покой, швырнуть его на поругание.

Весь вечер замирало сердце старой женщины. Но теперь, когда она лежала без сна и, глядя на мерцающий в окне синий свет, слушала ненавистный храп, доносившийся из горницы, в ней вдруг все взбунтовалось. Ну и пусть их, пусть их! Они отняли у него все, стащили с него сапоги, шинель, штаны. Его уже раз касались немецкие руки, они уже раз бросили его на снег, бросили, может, еще живого, на лютый мороз. Немецкая пуля уже выпила из него кровь, он уже мертв, уже погиб, защищая свое село. И не взглянет больше серыми веселыми глазами, никогда больше не запоет: «Распрягайте, хлопцы, коней...» Что же из того, что они еще раз оплюют его, надругаются над его телом? Тем хуже для них, тем хуже для них... Все равно навеки останется в памяти людей веселый парень Вася Кравчук, что пел лучше всех на гуляньях, а потом погиб у своего села, в овраге над речкой, где прежде столько раз поил лошадей, погиб за свое село, за свою землю, за свою родную речь, за счастье людей и свободу людей. Этому не смогут вычеркнуть из людской памяти немецкие руки. В ней будет записано и то, что они и после смерти не оставили его в покое, что и после смерти издевались над его телом. Это запомнит не только материн-

ское сердце. Запомнит народ, запомнят те, что придут, что прогонят отсюда прочь немецких разбойников. Сто раз суждено им заплатить за каждую каплю его крови, за каждую минуту, что он пролежал нагой на морозе, за каждый пинок немецкого сапога.

Теперь ей хотелось, чтобы уже поскорей пришло утро. Пусть она скажет, эта черная крыса, процедит сквозь свои острые зубы, пусть все скорей случится. И пусть увидит своими круглыми черными глазами, что Федосья не побледнеет, не заплачет, не бросится на колени, не станет просить и молить, чтобы у нее не отнимали единственное, что у нее осталось — обращенное морозом в камень тело сына. Проклятая играет им как игрушкой, играет ее страхом, мукой материнского сердца. И вот Федосья выбьет все это из ее рук. Черная крыса ошибется, не дождется она ни плача, ни просьб, ее торжество не удастся.

Федосья чувствовала, как твердеет, наливается кровью ее сердце, и знала, что теперь уже никто ничего не может ей сделать, никто ничем не может ее ранить. Она защищена от всех ударов непроницаемой броней ненависти.

На синее сияние окна то и дело падала тень. Это ходил часовой перед домом. Снег скрипел под его ногами, слышно было, как он топчется на месте, тщетно пытаюсь согреть коченеющие ноги. Женщина усмехнулась. Карауль, карауль офицерский сон, теплый сон с любовницей на захваченной крестьянской кровати, под ворованной крестьянской периной... Не укараулишь, не убережешь, хоть в сто раз больше топчись, хоть ноги отморозь, хоть до смерти добегайся под окном хаты... Наступит ночь, когда придется очнуться от крепкого сна и босыми ногами, в белье выскочить на мороз. Придет ночь, когда позавидуешь тем, что лежат непохороненные в овраге, и Ловоюку, что месяц висит на виселице. Такая ночь, что офицерская по-таскушка позавидует судьбе Олены Костюк.

И снова возник мучительный вопрос: кто предал? Олена пришла потихоньку, пробралась к себе в хату, ведь не считали же немцы, не успели пересчитать всех баб в селе. Олена сидела тихо, никуда не выходила, а вот не прошло двух дней, как они явились, выволокли ее, потащили на допрос. Значит, кто-то предал, сказал об Олене, дал знать Пелагее о Васе. Где-то притаился враг, так хорошо скрытый, что село о нем не знает, что никто о нем не догадывается. Враг, который все видит, знает, доносит. Кто-то здешний, кто мог узнать Васю, кто знал Олену, кто знал все! Кто это мог быть?

Сама она узнала об Олене тотчас, когда та вернулась в село. Знали и другие, но ведь все это были свои, односельчане, колхозники, отцы и матери бойцов, которые в эти страшные морозные дни и светлые ночи дрались по всему фронту необъятной родной земли. Кто же был змеей, ядовитым гадом, выкормленным золотой пшеницей этой родной земли, а теперь вопяющим в нее свое жало?

Где-то вдали раздались голоса. В чистом морозном воздухе, в полной тишине ледяной ночи малейший звук раздавался громко и явственно. Слышны были голоса, чьи-то окрики. Федосья соскользнула с печки, подошла к окну и соскоблила пальцем толстый слой инея. Он осыпался, как снег. Дыханием она оттаяла на стекле маленький чистый кружок, сквозь который можно было увидеть, что делается на улице. Стекло туманилось, снова замерзло, приходилось беспрестанно дышать в него и протирать концом платка. Из окна видна была часть улицы, до самой площади, до дома, где раньше помещался сельсовет. Там, дальше за ним, темнел большой сарай.

Было светло, как днем. Лунный свет превращал весь мир в голубую ледяную плиту. И Федосья ясно увидела: по дороге от площади бежала нагая женщина. Нет, она не бежала,— наклонившись вперед, она с усилиями делала мелкие шаги, переваливаясь с ноги на ногу. При лунном свете был ясно виден ее огромный живот. За ней шел сол-

дат. Жало штыка поблескивало на его винтовке. Когда женщина на секунду останавливалась, штык колот ее в спину. Солдат что-то выкрикивал, орал два его товарища, и беременная снова двигалась вперед, согнувшись, пытаясь бежать. Пятьдесят метров вперед — и солдат заставлял свою жертву повернуть обратно. Пятьдесят метров назад — и опять, и опять то же самое. Палачи смеялись, их дикий хохот доносился в хату.

Федосья впиалась пальцами в оконную раму и смотрела, смотрела. Вот, значит, что происходило в эту ночь, когда офицер храпел со своей любовницей. Солдаты точно выполняли его поручение, он мог спать спокойно.

Вот она, Олена Костюк. Когда-то давно они вместе работали на помещичьем поле. Вместе дрожали перед приказчицей плеткой и еще больше перед приказчичьими ухаживаниями. Вместе плакали над своей долей, злой безнадёжной долей девушек-батрачек.

А потом они вместе работали в колхозе и вместе радовались поднимающейся пшенице, и возраставшему удою колхозных коров, и тому, что все светлее, веселее улыбается жизнь.

И теперь вот такая судьба выпала Олене. Пятьдесят метров вперед, пятьдесят метров назад, голая, босиком по снегу, за день-два до родов. Солдатский смех, штык, колющий в спину.

Федосья не плакала, не кричала. В сердце ее запеклась черная кровь. Так должно быть, иначе и быть не может, пока они тут. Будто нарочно хотят показать, на что они способны. Будто хотят показать, что нет границ их жестокости. Она смотрела на Олену, и не сочувствие охватывало ее сердце. Нет, здесь не было места жалости. Федосье казалось, что это она сама бежит там босиком по снегу, нагая, отданная на издевательство солдат. Что это ее ноги ранит смерзшийся снег, ее спину колот сталь штыка. Это не Олена Костюк — это все село шло по снегу, подгоняемое солдатским смехом. Это не Олена Костюк, это все

село падало в снег лицом, тяжело поднималось под ударами прикладов. Это не из ног Олены Костюк струилась на жесткий, обледеневший снег кровь, это село истекало кровью под немецким кулаком, под немецким сапогом, под немецким разбойничьим игом.

Федосья мрачно смотрела сквозь маленький кружок чистого стекла. Да, так и должно быть. Штыком, железными кулаками учит крестьян немецкий солдат тому, что он такое, этот солдат. Он не знает, не подозревает даже, что учит людей еще одному—чем была советская власть. Что в любом селе, где хоть на один день потоками слез и крови проложило свой след немецкое хозяйничанье, навсегда, навеки, из поколения в поколение, не будет недовольных, ленивых, равнодушных к советской власти людей. Федосья вспомнила споры с бабами, прежние и новые—жизнь сама давала ответы, сама учила, учила жестоким, самым страшным ученьем.

Олена снова упала и снова поднялась. Откуда у нее брались силы? Федосья знала—откуда. Она знала, чувствовала, что и сердце Олены запеклось черной кровью, кровью ненависти, которая дает силы.

В каждой хате за замерзшими окнами стояли люди и смотрели через отогретые дыханием кружки. Вместе с Оленой они бежали по снегу, вместе с нею падали, поднимались, чувствовали уколы штыка и слышали за душу хватающий дикий хохот палачей.

Олена чувствовала на себе взоры всего села. Своего села, где она выросла в тяжкой доле, где дождалась лучших дней, где своими руками строила золотой мост к счастью. Кровь лилась из ее израненных, изрезанных острыми комками снега ног. Страшная боль рвала нутро. Голова гудела. Она снова споткнулась и упала, почти не почувствовав удара прикладом. Она поднималась не потому, что ее били. Нет, она не хотела, не могла лежать на дороге под солдатскими сапогами. Не хотела, не могла подарить врагу сознание, что он ее замучил, загнал насмерть, как собака

зайца. По правде она уже ничего не чувствовала. Тело истекало кровью, падало, тащилось по снегу. Сама она, Олена, была словно вне его, словно в горячем сне. Как в бреду видела она дорогу, солдат. В ушах шумело, гудело. «Мать!» — весело звал Кудрявый. Шумели верхушки деревьев высоко вверху, их раскачивал ветер, скрипели колья шалашей. Быстрое пламя ползло по балкам моста, лизало его огненным языком, рвалось вверх. Уходил на войну Микола, махал рукой с поворота дороги.

Олена упала. С трудом, опираясь на руки, она снова воднялась.

— Быстрее! — орал идущий сзади солдат.

— В брюхо ей дай, в брюхо, — посоветовал другой.

— Еще сдохнет раньше времени, — засмеялся тот и кольнул Олену штыком. — Она еще ничего не сказала, должна еще начать разговаривать.

— Уж капитан из нее с кишками вытянет что надо.

— То-то. Эй ты, двигайся, двигайся, — заорал опять первый.

— А ты ее пощупай еще раз, еще раз!

Жало штыка наклонилось. По спине женщины стекали тонкие струйки крови.

— Быстрее, быстрее! Ты что думаешь, что с мужиком на прогулку идешь?

Им было безразлично, что женщина не понимает их слов, им просто доставляли удовольствие самый крик, ругань, грубые слова. Они были утомлены и злы, мороз все крепчал, а им из-за этой проклятой бабы приходилось мерзнуть, вместо того чтобы спокойно спать. Хотелось проучить ее, отомстить ей за свою усталость, за эту бессонную ночь.

А ночь охватывала землю небывалым морозом, который, казалось, добирался до самого месяца и замораживал его в ледяную глыбу. В серебряном свете радуга потеряла краски и виднелась на небе едва заметной полосой. Но по

обеим сторонам месяца стояли два световых столба. Они выросли на горизонте, вздымались ввысь по обе стороны лунного диска как колонны триумфальных ворот. Они мерцали и переливались серебряным инеем, от далекого неба до краев земли.

— Двигайся, проклятая! — они орали изо всех сил не только потому, что им хотелось орать. Эта ночь пугала, наполняла страхом, они хотели криком и шумом заглушить гнетущий сердце страх, разорвать завесу таинственности, ввести что-то привычное в эти страшные ночные часы. Было светло, как днем. Ослепительно светила луна, заливая все вокруг серебряным блеском. Пылали столбы света, каких они раньше никогда не видали. В лунном свете искрился снег, такой голубой, какого они прежде никогда в жизни не видели. И снег скрежетал под ногами, свидетельствуя о морозе, какого они раньше никогда не знали, о существовании какого даже не подозревали. Мрачно, молчаливо стояли хаты у дороги. Нигде ни души, и только хаты, словно живыми глазами, смотрели на дорогу зрачками замерзших окон. Тени, отбрасываемые домами, чернотой своей привлекали взоры. В темную безлунную ночь немцы вообще не решились бы выйти. Они знали, — за каждым углом, за каждым кустом их подстерегает смерть, смерть внезапная, как молния, так что и моргнуть не успеешь. Сегодня среди этого ослепительного блеска трудно было укрыться, подкрасться, и все же сердце сжималось от страха. Они вдруг оглядывались, напрягали зрение, пытались рассмотреть что-то в тени сарая и покрикивали, стараясь придать себе храбрости. Мороз резал щеки, мороз ледяной коркой оседал на губах, они торопливо, лихорадочно терли уши, притоптывали ногами по снегу и взад и вперед, взад и вперед гоняли по широкой улице нагую женщину.

В конце концов, им надоела эта забава. Все одно и то же: Олена чаще падала, медленнее поднималась, но не плакала, не кричала, не обнаруживала желаний повидаться

с капитаном, чтобы дать показания. А мороз все крепчал и уже не только беспощадно резал лицо, руки и ноги, но захватывал дыхание в груди. Слезами застил глаза, потрясал тело неудержимой дрожью.

— Ну, двигайся, бегом домой!

Они, крича и улюлюкая, погнали ее к сараю, как дикого зверя. У входа она споткнулась о порог и рухнула лицом вниз на глиняный пол, инстинктивно загораживая руками вздутый живот. В висках стучало, сердце бешено колотилось. Через несколько минут ее сжали беспощадные тиски мороза. Нестерпимо запылали раны на спине, которых она до сих пор не чувствовала. Сделав нечеловеческое усилие, она поднялась, села и стала неловко растирать окостеневшими пальцами плечи, ноги, бедра. От щелей в стенах на глиняный пол ровными полосами ложился лунный свет. В углу лежала вязанка соломы. Она дотащилась до нее, съежилась и прилегла на этой соломе, стараясь поглубже зарыться в нее.

— Замерзну,— сказала она себе, и ей стало легче.

Тулуп и шаль еще днем остались там, на скамейке, у офицера. А ночью солдаты, прежде чем выгнать ее на снег, сорвали с нее всю одежду, даже рубашку. «А вдруг они забыли и оставили все это тут, в сарае?» — пришло ей в голову. Она огляделась. Нет, ничего не было. Голый пол и эта жалкая охапка соломы, давшая ей минутный приют.

Снаружи было тихо. Видимо, солдаты сочли излишним сторожить ее, заперли дверь на замок и ушли. Все тело жгло, как огнем. Она не могла уснуть, боялась уснуть и широко открытыми глазами смотрела, как медленно передвигаются полосы лунного света на полу.

Вдруг ей послышался шорох. Она напрягла слух. Снег скрипел, но это — не шаги часового. Кто-то ступал медленно, осторожно. Легкий скрип снега, потом все стихло, и снова осторожный скрип. Кто-то крался, едва перестав-

ляя ноги. Олена испугалась. Что это такое; кто это может быть?

Шаги затихли. Вероятно, ей показалось, привиделось. Но вот скрип раздался снова. Явно, кто-то шел. Она приподнялась в ожидании. Шаги приближались сзади, со стороны, противоположной воротам. Куда они свернут? Но шаги не сворачивали. Они стали еще медленнее, еще осторожнее и, наконец, стихли у самой стены.

Олена замерла. Кто-то стоял у стены. Она ясно слышала дыхание. Вот он прильнул лицом к бревнам, смотрит внутрь.

Она ждала. Кто это? Друг, враг или случайный прохожий? Хотя какие прохожие могут быть ночью в селе, где под угрозой смерти запрещено выходить из хат после наступления сумерек?

— Тетя! — тихим шопотом позвал детский голос.

Олена замерла. По ту сторону стены стоял ребенок. Она хотела ответить, но из груди вырвался только глухой, сдавленный стон.

— Тетка Олена!

Кто-то из соседских детей подкрался к сараю и звал ее. Она застонала.

— Тетка Олена, я вам хлеба принес..

Хлеб. Уже два дня у нее крошки во рту не было. Ни хлеба, ни воды. Голод еще не так чувствовался, но она умирала от жажды и там, на допросе у Вернера, и потом, лежа в сарае. Когда ее гоняли по дороге, ей удалось схватить несколько горстей снега и донести до рта. Снег подкреплял ее, освежая пересохший рот. Но солдаты заметили и стали следить, и тогда она хватала снег губами, когда падала на землю. Теперь она почувствовала, что голодна. В животе сосало, желудок сжимала нестерпимая судорога.

Она рассчитала расстояние от своего угла до того места, откуда звал мальчик, собралась с силами.

— Иду,— она осторожно поползла по глиняному полу, упираясь локтями, боком, чувствуя, что уже не может встать, не может подняться. Спина и бедра разрывались от пронизывающей боли, ноги ломило, словно по ним колотили дубовым колом.

Олена проползла шаг, другой — и вдруг тишину разорвал оглушительный удар. Потом — тонкий, пронзительный крик. Она припала к земле. Только мгновение спустя она поняла, что это был выстрел, выстрел, где-то совсем рядом. Женщина замерла с открытым ртом, напряженно глядя вперед, на черную стену, за которой что-то произошло. Послышался скрип шагов по снегу, твердых, тяжелых шагов, немецкая ругань, удар прикладом по чему-то мягкому. Подошел еще кто-то; теперь они кричали и ругались уже вдвоем. Она прислушивалась, не раздастся ли еще какой-нибудь звук. Но выстрел был, повидимому, меткий.

Только теперь внезапно сказались все муки последних двух дней, нечеловеческая усталость, непрерывное напряжение нервов. Она почувствовала, что все вертится, кружится, земля колеблется под ней, и неудержимо полетела в пустоту обморока.

Выстрел и крик слышны были далеко. Тем яснее их слышали в соседней хате, где уже целый час три головы прижимались к окну и три отогретые дыханием кружка давали возможность увидеть темные очертания сарая.

Маленькая Зина заплакала:

— Мама, Мишка! Мама, Мишка!

Мать сжала ее руку так, что девочка вскрикнула от боли.

— Молчи.

— Мама, Мишка! Что они сделали? Мама?

— Не слышишь? Убили нашего Мишку, — глухим голосом сказала женщина.

Восьмилетний Саша оторвался от окна:

— Мама, я отнесу тетке Олене хлеба.

— Никуда ты не пойдешь. Теперь уж они сторожат, до самого утра будут сторожить,—сурово ответила она. Помолчав, она добавила:

— Да и хлеба больше нет. Ни кусочка, ни крошечки. Миша взял последнее.

Мальчик опять подошел к окну и посмотрел. Но отсюда ничего не было видно.

Миша лежал у стены сарая. Пуля попала в спину под лопаткой и прошла навывлет. Он едва успел крикнуть. Солдат пихнул сапогом тело ребенка, и из маленького кулачка выпал ломоть хлеба.

— Хлеб принес, скотина, — сказал солдат и еще раз толкнул ногой безжизненное тело.— Хотели накормить бабу...

— Ишь как подобрался, мошенник...

— Еще минута, и передал бы... Только мы вышли, я сразу заметил — что-то маленькое тащится, и уже у самой стены. Как прицелюсь...

— Меткий выстрел, — похвалил его товарищ, глядя на коричневое пятно, прорвавшее сквозь серую шерсть домотканной рубашки.

— Еще бы! Уж глаз у меня верный! А что с ним теперь делать? Оставить здесь?

— Подождя, зачем здесь? Давай бросим в ров.

Эта мысль обоим понравилась. Они схватили ребенка за ноги и потащили. Светлая голова колотилась о комья замерзшей земли. Солдаты раскачали тело и с размаху бросили в засыпанный снегом придорожный ров.

— Пусть тут лежит. Интересно, откуда он притащился?

— Капитан завтра расследует. Хотя чорта тут узнаешь... Вся банда стоит друг за друга и молчит, как проклятая.

— Не беспокойся, наш капитан развяжет им языки!

— Пора бы. Я тебе прямо скажу: страшно здесь.

Высокий солдат оперся на винтовку и внимательно

всмотрелся в лицо товарища. Но, видимо, не заметил в этом круглом лице со вздернутым носом ничего подозрительного.

— Страшно... А как хочется вернуться домой! Моему Михелю весной исполнится десять лет. Два года его не видел, подумай, два года...

Второй сочувственно покачал головой.

— У меня был осенью отпуск.

— Когда я уезжал, я обещал, как вернусь, купить ему велосипед. Мальчик два года ждет этого велосипеда. Отсюда трудно послать.

— Фельдфебель послал целых два.

— Фельдфебель...— протянул высокий.— То фельдфебель, а у меня разве примут? Сам знаешь. Посылки другое дело, а велосипед не позволят послать.

Они ходили взад и вперед перед домом, где помещался кабинет Вернера. В окнах горел свет. Канцелярия работала.

— Который теперь час? Пора бы нас сменить.

— Еще полчаса.

Холод все усиливался. Высокий немец чувствовал себя еще сносно, его голова под пилоткой была укутана шерстяным платком. Но второй, пониже ростом, отчаянно тер руками уши.

— Как эти люди здесь живут? Всегда тут такие морозы?

— Откуда я знаю? Наверно, всегда... Да им что — дикари.

— Видел радугу?

— Видел.

— Что это означает?

Высокий пожал плечами.

— Что ж оно может означать? Должно быть, у них бывает зимой радуга. А эти столбы, погляди-ка!

— Это от мороза.

— Видно, и радуга от мороза.

— Возможно, — согласился низенький, дыша в ладони, и беспокойно оглянулся.

— Что там?

— Ничего, так смотрю.

Через минуту оглянулся и высокий, и сам выругался от злости. Они уже знали по опыту, что стоит только раз оглянуться, потом уже так и тянет посмотреть еще и еще раз, и от этого охватывает все больший и больший страх.

— А ты не смотри. Ничего же нет.

— Ты сам все время оглядываешься.

— Мне все кажется — кто-то ходит по дороге. Поглядишь, никого нет, а потом опять кажется.

Не сговариваясь, они ограничили свою прогулку несколькими шагами вдоль дома и обратно.

Дверь открылась. Это шла смена.

— Кто стрелял? — спросил фельдфебель.

— Я, — вытянулся высокий солдат. — Арестованной хотели передать хлеб.

— И что же, Рашке? — заинтересовался фельдфебель.

— Я попал в него; какой-то мальчишка, видно, соседи подослали.

— Где он?

— Мы бросили его в ров.

— Ну, пойдем посмотрим.

Все трое отправились туда.

— Вот здесь, — показал рукой Рашке.

Фельдфебель нагнулся.

— Здесь ничего нет.

— Как ничего нет? — растерялся солдат. — Франц, ведь мы его здесь бросили?

Они спустились в ров и принялись шарить в снегу.

— Куда ты зашел, так далеко? Там мы вовсе и не были.

Фельдфебель подозрительно всмотрелся в их лица.

— Послушайте, это еще что за история?

— Господин фельдфебель, клянусь вам, ведь и свидетель есть, вот тут мы бросили мальчишку, вот посмотрите, тут! — обрадовался он, заметив на снегу небольшое пятно крови.

Фельдфебель покачал головой, внимательно осмотрев это место.

— Полезли в ров, все следы затоптали... Хорошо вы тут караулили, нечего сказать! Кто-то из-под носа у вас утащил труп. Если он вообще был, — прибавил он строго.

— Как же, как же, ведь свидетель есть... Мы вдвоем волокли его за ноги...

— А может, он был жив, дураки вы этакие, и ушел отсюда?

— Нет, нет!.. Я его навывлет прострелил, он упал навзничь и тут же подох...

Фельдфебель направился к сараю. Большое пятно рыжело на снегу, рядом лежал ломоть черного ржаного хлеба. На твердом снегу вырисовывались следы детских ног, прошедших по чистому, незатоптанному сугробу.

— Вот здесь... а потом мы сволокли его в ров... Вот посмотрите, виден след.

— Ну да, — согласился фельдфебель. Видно было, что солдаты говорят правду. — Пойдемте, вы арестованы.

Они остолбенели.

— Арестованы?

— Ну, чего глаза вытаращил? Ты обязан охранять этот участок? Обязан. А на участке происходят вещи, о которых ты понятия не имеешь. Украдено тело преступника, а вы, два дурака, и не заметили. Хороша охрана! При такой охране нас вырежут по одному, головы поотрывают, как воробьям...

Солдаты шли за ним, понуря головы.

— Проклятое место, — пробормотал Рашке. Его товарищ ответил вздохом.

— Там же никого не было, никого не могло быть!—упрямо твердил Рашке.

Маленький Фогель съежился от ужаса. Он почувствовал, как у него волосы встают дыбом, как по спине пробегает ледяная дрожь. Рашке утверждает, что там никого не могло быть. И он прав — снег не скрипел, ничего не шелохнулось вокруг, не было слышно ни звука, ни одна тень не скользнула по залитому лунным светом снегу. И все-таки труп мальчика исчез. Что же это может значить?

Рядовой Фогель боялся ответить себе на этот вопрос и только бессознательно ускорил шаги. Он легко вздохнул, когда, наконец, запахнулась дверь хаты и навстречу вырвались тепло, свет, человеческие голоса. Ров, снег и эта жуткая, ужасом пронизывающая сердце ночь остались снаружи. Он забыл на мгновение о своем аресте. На одно мгновение он почувствовал себя счастливым — он был среди людей, ночь отступила, побежденная человеческими голосами, светом лампы. Ночь не могла проникнуть сквозь стены хаты.

— Придет капитан, распорядится, как с вами быть. Останетесь здесь до утра, — сказал фельдфебель.

Рашке и Фогель сели на полу в уголке. Было тепло, приятно. Рашке прислонился головой к стенке и сразу задремал. Но вши не давали спать. С минуту он чесался в полусне, потом открыл глаза и выругался.

— Разве тут выспишься... На морозе эта дрянь еще успокаивается, а теперь зато наверстывает...

Они придвинулись к печке, стащили с себя мундиры, рубашки и при красном свете пылающих дров принялись старательно ловить вшей в складках и швах грубого полотна.

* * *

Малючиха, тяжело дыша, сидела на полу. Не легко было проползти на животе по рву больше трехсот метров.

Раз сто она зарывалась лицом в снег, чтобы ее не заметили немцы. Она стискивала зубы — будь что будет. Она не оставит ребенка валяться во рву, как собаку.

Обратный путь был еще трудней. Маленькое тело сына тяжело давило спину, соскальзывало в сторону, мешало двигаться. Она с трудом доползла до забора, с трудом выбралась из рва, воспользовавшись тем, что солдаты, разговаривая, задержались у дома. И вот она, наконец, в хате, и маленький Миша, прямой, вытянувшийся, лежит на столе. За это время он успел застыть на морозе, словно умер уже давно. Дети обступили брата. В лунном свете, лившемся в окно, были ясно видны его светлые волосы, разметавшиеся вокруг лица, рот, широко раскрытый в последнем крике.

Зина осторожно коснулась пальчиком пятна крови на куртке.

— Что это?

— Не трогай, — сурово сказал Саша. — Это сюда в него выстрелили, правда, мама?

— Сюда, сынок, сюда, — шепнула она глухо, перебирая пальцами мягкие волосы Миши. Вот и нет его. Еще так недавно он прятал за пазуху ломоть хлеба для Олены и осторожно, на цыпочках, выходил из хаты. Она была уверена, что ему удастся, что он проберется к сараю. А вот вышло иначе.

— Не надо было пускать Мишу, — плаксиво сказала вдруг маленькая Зина.

— Надо было, доченька, надо было, — простонала она глухо. — Ох, надо было, надо...

— Тетке Олене там не дают есть, — мужским низким голосом объяснил Саша.

— Да, сынок, да, — подтвердила она. — В одном отряде с батенькой была тетка Олена... И вот как ей пришлось. Пропадет, ни за что теперь пропадет Олена...

— Может, я ей хоть картошки отнесу, с вечера в горшочек осталась, — сердито буркнул Саша.

— Нет, сынок, теперь уж никому не пробраться к сараю, уж они теперь во все глаза смотрят... Зря только пропадешь, без пользы... Вот, нет никого у сарая, а Мишу углядели...

— Меня бы не углядели, — упирался Саша.

— Пустое ты говоришь, и нехорошо это... Если уж Миша не прошел, значит, там никому не пройти, никому...

Саша умолк. Мать глядела на лицо убитого и мягко гладила его волосы.

— Ну, где нам его похоронить? Утром они начнут рыскать, искать. Отнимут, если найдут.

— В саду похороним, — предложил Саша.

— Как можно в саду? Услышат, выследят... Да и земля жесткая, как камень, могилу не выкопашешь, разве только снегом забросать...

В полной беспомощности они стояли вокруг стола, на котором лежал убитый.

— Что же делать?

— Надо в хате похоронить, — шепнула мать.

— В хате? — удивилась Зина.

— А где же? Будет лежать в своей хате, останется с нами... Больные ничего не придумаешь.

— Здесь, в горнице?

Она беспомощно оглянулась.

— Нет... В сенях можно...

Они вышли в сени. Сени были маленькие, тесные. Мамочка разглядывала глиняный пол.

— Вот здесь будем копать. Подай, Саша, лопату, вот она за дверью стоит.

Она перекрестилась, наметила очертание могилы и налегла ногой на лопату.

Земля была жесткая, утоптанная за долгие годы множественностью ног. Лопата не шла, земля упорно сопротивлялась. Женщина скоро запыхалась.

— Теперь ты, Саша...

Мальчик упрямо копал, высунув от усилий язык. Зина, присев на корточки, отгребала руками землю. Так, сменяя друг друга, они рыли долго, упорно пробивая затвердевшую землю. Когда они пробили верхний слой, пошло легче. Наконец неглубокая могилка была готова.

— Ну, дети, надо его обрядить... Ох, без гроба придется Мишутке лежать в земле.

Она набрала из ведра воды и принялась мыть лицо, окровавленную грудь, худенькую спинку сынишки, на которой под лопаткой зияло круглое отверстие. Потом вынула из сундука чистую рубашку и с трудом натянула рукава на окоченевшие, холодные руки.

— Вот какие похороны...

Зина всхлипнула.

— А ты не плачь. Мишутка помер, как красноармейцы помирают, понятно? Помер от немецкой пули, за правое дело помер, понятно?

Она обращалась к Зине, но говорила это и самой себе. Рыдания подступали и к ее горлу, и она боялась, что не выдержит, что упадет на колени у тела сына и завоет по-звериному, и будет выть на все село о своем несчастье, о своем горе, о смерти сына, которого родила, кормила, холила десять лет и который теперь погиб от немецкой пули.

— Отец ему говорил, когда уходил с партизанами: «Ты смотри, не осрами меня здесь!» Вот Мишутка и послушался отцовского наказа, не осрамил своих... Понятно?

— Понятно, — всхлипнула Зина.

— А плакать не нужно. Мишутке будет тяжело лежать, если на него слезы упадут. Плакать не нужно. Помоги-ка мне холстину разостлать.

Они разостлали в яме льняную холстину, положили на нее убитого, завернули его.

— Это чтобы ему земля в глаза не сыпалась, — сказала мать.

— Чтобы ему в глаза не сыпалась, — тоненьким голоском повторила Зина.

— Возьми, Зина, горсточку земли, брось на брата, — сказала Малючиха.

Девочка присела на корточки, подняла комок бурой глины и бросила на холстину. За ней Саша. Мать сбрасывала землю лопатой. Закапывала яму, пока не исчезла белая холстина, пока могила не сравнялась с полом, пока над ней не вырос небольшой холмик.

— Надо утоптать, — сказала женщина. — А то заметно, придут, разроют.

Все трое принялись утаптывать. Малючиха утаптывала землю шаг за шагом, аккуратно, тщательно. И думала, что вот, вопреки обычаям, вопреки собственному сердцу, она топчет сыновнюю могилу, чего никогда никто не делает. Что вот она топчет светлую голову сына, его окровавленную грудь, его худенькие детские руки и ноги.

— Так надо, — громко ответила она своим мыслям, и маленькая Зина повторила, как эхо:

— Так надо...

— Хватит? — спросил Саша.

— Нет, сынок, нет. Земля еще мягкая, еще заметно. Топчи, топчи, пока совсем не сравняется.

Она старательно собрала оставшуюся землю, отнесла ее в хату и рассыпала у печки. Подмела сени, чтобы незаметно было никаких следов могилы, потом набросала сверху щепок, соломинок, как обычно на полу в сенях.

— Не видно?

Саша внимательно всмотрелся.

— Нет... Да еще днем, когда будет светло, можно поправить.

Малючиха стояла и глядела на эту странную могилку сына, усеянную соломинками и щепками. От Мишутки и следа не осталось. Бывало, умирали дети. И у каждого

были свой гробик и могилка, поросшая зеленой травой. А от Мишки не осталось и следа. Он лежал в родной хате, но даже и она не нашла бы, если бы не знала, где он лежит.

— Идите спать, детки, — сказала она.

— А вы?

— И я прилягу. До утра недалеко, надо выспаться.

Но она не спала. Она думала о Минютке, думала о муже, который ушел с партизанами. В армию его не взяли, еще в восемнадцатом году он потерял два пальца и был признан негодным. А партизаны не смотрят, есть пальцы, нет пальцев, в партизаны и он пригодился.

Придет Платон, спросит, где Мишка. Он всегда был его любимцем. Что же она ответит мужу? Лежит, мол, Мишутка в сених, под глиняным полом, с немецкой пулей в сердце?

И все же она знала, что Платон выслушает эту весть спокойно, что он скажет то же, что сказал, когда немцы входили в село, а он, вместе с другими, с узелком за плечами, уходил отсюда далеко в леса, где мог укрыться отряд. «А ты, старуха, держись. В случае чего хватай кол, топор, что попало, ну, только не давайся. Теперь такое время, что всем приходится воевать. Старикам, бабам, да что там, — детям!»

Платон скажет: «Что ж, наш Мишутка погиб в борьбе с немцами. Не реви, старуха, за родину погиб, понятно?»

И Малючиха не плакала, глядя широко открытыми глазами на дверь, за которой под полом в сених скрывалась сыновья могила.

* * *

А на улице часовые все еще обсуждали почные события.

— Дьявольские места. Кто его мог взять? Рашке говорит, что они ничего не слышали. А ведь снег скрипит, чуть ступишь.

— Кто его знает, — угрюмо пробормотал другой. — Разве тут поймешь что-нибудь?

И они все чаще озирались, оглядывались.

Казалось, — вот закрипел снег, явственно закрипел, вот уже почти слышны шаги. Оглянешься—и ничего нет. Вокруг луны вырисовывался туманный светящийся круг. Световые столбы, колонны триумфальной арки медленно угасали, меркли.

— Вроде потеплело, — заметил один из солдат.

— Куда там потеплело! Я только и жду, что у меня уши отвалятся. На воздухе еще ничего, но как войдешь в дом, посидишь в тепле, ну, как огнем жжет.

— Отморозил, наверно.

— Конечно, отморозил. И ноги тоже болят зверски... Начнется оттепель, будут живьем гнить.

— Тебе же лучше, отправят в госпиталь.

— Да, как раз отправят! Малера отправили? А у него ноги совсем почернели.

— А ты не ори.

— Никого нет.

— Тебе вот кажется, что никого нет, а фельдфебель завтра же будет все знать.

— Разве что ты побежишь, наябедничаешь.

— Ты что, по морде получить хочешь?

— Чего ты злишься? Не говори глупостей. Чудес не бывает.

— Не бывает. Чудес, конечно, не бывает... А вот ты мне скажи, кто утащил труп?

— Это другое дело... Я про фельдфебеля...

— Вот то-то!

Кайма вокруг луны все расширялась, густела, выделяясь молочной голубизной на прозрачном небе.

— Говори, что хочешь, мороз должен бы к рассвету крепчать, а сейчас вроде потеплело.

— Может, и потеплело.

Неподвижный до сих пор, застывший ледяной глыбой воздух словно шелохнулся. Подул едва заметный ветерок.

— Я тебе говорю, погода меняется, у меня ноги ломит.

— Ревматизм?

— Ревматизм, старая история. Как к перемене погоды, ломит и ломит. Они ходили взад и вперед по улице.

— А та баба все еще в сарае?

— Там.

— Замерзнет к утру.

— Если потеплеет, не замерзнет.

— Паршивая работа — мальчишка, баба...

— А ты чего хотел? Этакая баба так тебя двинет в бок, что и вздохнуть не успеешь... А хуже всего мальчишки. Всюду пролезут, всюду вотрутся. Их сюда шпионить присылают.

Они помолчали минуту.

— Я бы это все иначе... Вроде как капитан в том селе, помнишь?

Курносый кивнул головой.

— Видишь ли... Никогда они не станут на нас работать, уж я их знаю. В конце концов их все равно придется уничтожить, так уж лучше сразу. Было бы много спокойней.

— Всех?

— Всех. Ты же видишь, что это за люди. Совсем маленькие дети, и те сагитированы, нам уж их не перевоспитать. Да и зачем — напрасный труд. Это другие люди, такими и останутся.

Солдат вздохнул и ничего не ответил. Радужные столбы погасли. Ветки на деревьях у дороги зашуршали. С них посыпался мелкий снег. Месяц задернулся туманом и сквозь него светил тускло и бледно.

— Смотри, как погода-то меняется. Месяц только что светил, как солнце, а теперь чуть видно.

— Ветер поднимается.

— Это хорошо, что потеплеет. В такой мороз сдохнуть можно.

Снег под ногами скрипел и уже не издавал скрежета. Погода молниеносно менялась. Стеклянную прозрачность неба заволокло серым дымком, ветер усиливался, завывая в поле длинные жгуты снега. Холодный ветер пронизывал до костей, дул в лицо, забирался под тонкие шинели.

— Вот тебе и потеплело...

— Сколько еще осталось?

— До утра далеко, еще патопаешься.

Издали от засыпанной снегом равнины приближался, нарастая, странный гул.

— Что это?

Они остановились, прислушиваясь. Гул усиливался, рос и вдруг обрушился на село протяжным воем. Деревья закачались, затрепетали всеми ветками. Ветер рвал с земли сыпкий снег, разбрасывал его, взметал в воздух, отовсюду сыпалась серебристая, сухая мука. Часовые едва передвигались, согнувшись, выставляя вперед головы. Когда они поворачивали и ветер дул им в спину, идти было легко, их несло, как на крыльях; но ветер беспрестанно менял направление, кидался справа, слева, пересекал дорогу, вздымал высокие столбы снега, вытягивал их ввысь и вдруг обрушивал на землю, рассыпая белым пухом.

— Ну и зима! Теперь начинается метель. В такую вьюгу и не увидишь ничего.

И оба, как по команде, оглянулись через плечо. Но дорога была попрежнему пустынна.

III

«Дорогая моя Лунза...»

Капитан Вернер поднял глаза от письма и засмотрелся в окно. За окнами бесновалась вьюга. Казалось, что идет

снег,— но это только ветер поднимал вверх белые сугробы, рвал их в клочья, засыпал кусты, швырял снегом в стекла, пронзительно воя. Ветер свирепствовал по широким белым равнинам, крепчал, бил крыльями о землю и штурмом обрушивался на село, так, что хаты содрогались.

Тоска и скука затопили сердце Курта Вернера. Нечем было дышать, метель отрезала от мира, все потонуло в снеговых омутах, воронках, в летучем, мелком, как песок пустыни, снегу. Ему вспомнился дом в Дрездене. Что-то там теперь делают дети, жена! Давно он их не видел. Когда ехали из Франции, он надеялся, что удастся вернуться на денек домой. Но их провезли через Германию в безумной спешке, не позволяя ни на минуту выходить на остановках. За окнами вагона только мелькнул родной город, и ему удалось лишь взглянуть в ту сторону, где они жили. И вот теперь страшно захотелось хоть не надолго, на полчаса, хоть на десять минут зайти домой. Там не воев ветер, не грозит неустанно смерть, притаившаяся в морозных оврагах. Они сидят за столом, пьют кофе, Луиза режет хлеб. Тепло, уютно. Луиза улыбается, подает пухлыми руками чашку. Когда же он вернется наконец?

Его охватила глухая злоба на все и на всех. На Пусю, которая вечно капризничает, спит до полудня, жалуется на скуку; ей даже в голову не придет застлать постель, прибрать комнату. Он с отвращением вспомнил неубранную кровать, окурки на полу, валяющиеся на столе, рядом с хлебом и маслом, щипцы для волос, ножницы для ногтей. Чистенькая квартирка в Дрездене, каждая вещь на своем месте, Луиза, с неизменной тряпочкой в руках, вытирает пыль... Его охватила злоба на собственных солдат, глупых, тупых, вшивых, больных всевозможными болезнями, обмороженных. И страшная злоба на это село, где приходится сидеть вот уже целый месяц,— мрачное, притаившееся село, где люди проходили мимо него глядя

в землю, а он все же знал, что в глазах каждого таится ненависть и что никакими силами от них не добиться того, что ему нужно,— страха и покорности.

— Я вам еще покажу,— бормотал он сквозь стиснутые зубы. Его взгляд упал на белый лист бумаги. Он, склонился над столом и стал быстро писать. Так быстро, что мелкие капельки чернил разбрызгивались вокруг.

«Я считаю дни, когда, наконец, окажусь опять с тобой. Мы идем вперед, Луиза, все время идем вперед по этой страшной, дикой, варварской земле, и наш поход скоро окончится полной победой».

Пусть Луиза радуется. Она не узнает, что они уже три месяца стоят на одном месте, — ведь нельзя же принимать в расчет одно несчастное село, — что уже три месяца их донимает ужасающий, беспощадный мороз, что в лесах и оврагах их подстерегают партизаны, что солдаты с каждым днем слабеют и с каждым днем все больше больных, что из отряда, с которым он ехал из Франции, почти никого уже не осталось, что из дрезденских его приятелей уже никого, кроме Шмахера, нет в живых. Нет, этого она не узнает, да и откуда? Письмо с фронта должно наполнять бодростью, должно возбуждать и поднимать патриотический дух. Тем более, что, кроме Луизы и до Луизы, письмо прочтут и другие, прочтут и по нему будут судить о настроении Курта Вернера.

«Зима здесь ужасна, мы не привыкли к таким морозам. Но нас согревает приказ фюрера, и мы гордимся тем, что нам дано выполнять его великий план, что нам дано служить величии Германии».

Он написал еще несколько фраз и перечел все сначала. Да, это звучало неплохо, лучше, чем листки для солдат, которые им присылали из Германии. Более мужественно, более убедительно.

Он еще подумал мгновение, кусая ручку, но решил, что хватит. Нужно ведь еще спросить о детях, нужно еще показать себя в письме отцом и мужем.

«Дорогая моя, как ты там справляешься? Как здоровье Лиззи? Благополучно ли кончилась у Вилли ангина? Я постараюсь послать ему мех на шубку, он не будет так простужаться. Ты просила чулки — к сожалению, пока мне их трудно найти, мы стоим все по селам. Как только зайдем какой-нибудь город, постараюсь достать. На прошлой неделе я послал вам масла. Пожалуйста, аккуратно подтверждай получение посылок. В следующей пошлю мед — полечи горло Вилли...»

В дверь постучали.

— Что там еще?

— Староста пришел.

— Пусть подождет, — бросил он через плечо и снова наклонился над письмом. Но мысли уже пошли по иному пути, он уже перебросился из дома в Дрездене в украинское село, и раздражение мешало ему писать. Он быстро покончил с поцелуями и приветами, подписался и торопливо вложил письмо в конверт.

— Ну, где он там? Пусть войдет.

Высокий сутулый человек появился в дверях.

— Вы посылали за мной, господин капитан?

— Посылал, посылал...

Он вытянул под столом ноги и с минуту испытующе смотрел на стоявшего перед ним человека.

— Когда, наконец, будет готов транспорт хлеба? — бросил он вдруг, быстро наклонившись вперед.

Староста вздрогнул и втянул голову в плечи.

— Я делаю, что могу, из кожи лезу — нет хлеба...

— Как нет? В селе триста домов, урожай в этом году был первоклассный, а хлеба нет? Попрятали!

Тот жалобно вздохнул.

— Наверняка попрятали...

Он указал на разыгравшийся за окном снежный ураган.

— Где тут искать? Что тут найдешь?

— Можно найти,— отрезал капитан.— Надо только поискать как следует, господин Гаплик, как следует поискать... Сядьте.

Староста осторожно присел на краешек стула.

— Я недоволен вами, совершенно вами недоволен. Собственно, я даже не понимаю, зачем вас сюда везли, посылали... Я полагаю, лучше было бы найти здешнего... Вы же за этот месяц даже с людьми не познакомились. Вам известно, кто у вас здесь живет в селе?

В глазах старосты мелькнул радостный огонек, он поддакнул, торопливо кивая маленькой лысой головой.

— Конечно, не познакомился... Село большое, а со мной кто же станет... Здешнему было бы легче, конечно, ему было бы легче...

Капитан качался на стуле.

— Ага... Вам, значит, не очень нравится ваша должность, а? — коварно спросил он.

Гаплик вертел в руках шапку и молчал.

— Так, так... Вы все же не забывайте, что там вас расстреляли бы красноармейцы или, еще хуже, крестьяне закололи бы вилами... Вы обязаны жизнью немецким властям, и надо выполнять то, что они требуют, тем более, что они не так уж много требуют, не правда ли?

Мужик вздохнул.

— Без увлечения беретесь за дело, без увлечения... Большевики отняли у вас землю, держали вас в тюрьме, мы думали, что вы сделаете все, что в ваших силах. А на деле — ничего... Что моим солдатам удастся выжать из села, то мы и имеем, а результатов ваших усилий не видно... И сведений мы от вас почти не получаем.

— Об этой Костюк я ведь сообщил...

Он пытался спасти себя, напомнив об этом единственном своем успехе. Об Олене он случайно подслушал, когда крался задами в комендатуру.

Вернер поморщился.

— Ну ладно, а что еще?

— Об учительнице... — пробормотал Гаплик.

— Ну да, об учительнице... Это весьма немного и притом еще нуждается в проверке.

— Здешнему было бы легче...

— Вы мне не морочьте голову здешними! Конечно, было бы легче, только откуда его взять, местного? Триста домов и триста семей в колхозе! Ни одного единоличного хозяйства. Земля — стобранная у помещика, а люди — сами знаете... Беднота, голытьба, которая благодаря большевикам дорвалась до земли! Большинство их бывшие батраки! Откуда вы тут возьмете человека? — рассердился Вернер и стукнул кулаком по столу. — Вы должны постараться, должны свое сделать, не то я за вас возьмусь иначе, Гаплик. Даю вам три, ну, так и быть — четыре дня, и чтобы хлеб был! Армию надо кормить, армия не будет подыхать здесь с голоду из-за того, что вы не умеете справиться с мужиками.

— Один я ничего не сделаю, — мрачно сказал староста. — Нужна помощь армии...

— А разве я вам отказываю в помощи? Нужно будет помочь, помогу, но сами-то вы тоже что-нибудь делайте, думайте о чем-нибудь.

Маленькие глаза старосты повеселели.

— Ладно, я обдумаю план и доложу вам...

— Хорошо, хорошо, только не слишком долго обдумывайте. Помните, четыре дня. И с этим мальчишкой... Виновники должны найтись, должны, иначе отвечать будете вы. На это я вам тоже даю четыре дня!

Он отвернулся к окну. За стеклами бесновалась вьюга, кружился снег, дом скрипел и потрескивал в этой схватке с бураном. Гаплик понял, что разговор окончен. Он низко поклонился квадратной спине капитана и вышел.

Только на улице он решил надеть шапку. Он шел, втянув голову в плечи, и безнадежно думал о том, как

распорядиться, чтобы, наконец, выжать хлеб из упрямого села. В снежном омуте он едва не наткнулся на идущего навстречу человека. Внезапно очнувшись от назойливых мыслей, он испуганно отскочил. Седой старик внимательно взгляделся в него и, узнав, презрительно сплюнул, свернув с дороги к хатам.

Гаплик торопливо добрался до дому, вытащил из ящика бумаги и, согнувшись над столом, принялся писать проект приказа. Он наклонял голову то на правую, то на левую сторону, чиркал, перечеркивал, вздыхал. Ему мешал воющий за окнами ветер, назойливое воспоминание о строгом голосе капитана и не менее страшное воспоминание о лицах здешних крестьян. Он потел, тер свою лысую голову, понимая, что это его последняя ставка, что он должен, наконец, угодить Вернеру, что должен, наконец, во что бы то ни стало сломить сопротивление селян.

А село лежало тихое, молчаливое, в тучах подхлестываемого ветром снега. Люди сидели по хатам, слушая, как воеет ветер за окнами. Только старого Евдокима Охабко так замучило одиночество, что он, не глядя на вьюгу, собрался к соседям. Сопротивляясь беснующемуся ветру, он пробрался вдоль плетня Малюков и долго оббивал сапоги о порог. В хате никто не шелохнулся. Евдоким постучал в дверь и, не ожидая ответа, открыл дверь. На него глядели три пары остановившихся от ужаса глаз.

— Как живете?

Малючиха ловила губами воздух. Ее сердце бешено колотилось.

— Это вы, дед Евдоким?

— Не видите разве, что я? Что это вы так перепугались?

Она не ответила. Он остановился, опираясь на палку.

— И садиться не приглашаете? Новые порядки заводите, а?

— Лучше у нас не садиться, лучше к нам и не заходить вовсе, — сказала она тихо.

— Почему же это?

Она пожала плечами. Старик махнул рукой и сел на лавку под окном.

— Да ты, Галина, одурела, что ли? Чего вы так сидите? Где Мишка?

Маленькая Зина вдруг разревелась во весь голос.

— А ты чего?

— Тише, Зина, не плачь, — сурово сказала мать.

Евдоким почесал голову.

— Метель такая, что просто страх, стены трещат, скучно одному сидеть... Дай, думаю, к соседям зайду...

— Соседи-то мы, дедушка, сейчас такие...— вздохнула Малючиха.

Он оперся подбородком на скрещенные на палке руки и внимательно взглянул на женщину.

— Да случилось у вас что-нибудь, что ли? Где это Мишка бродит в такую вьюгу?

— Нет Миши, дедушка...

— Как нет? Куда же он пошел?

— Никуда он не пошел... Застрелили немцы Мишу нынче ночью.

Седая голова вздрогнула.

— Застрелили Мишку? Что ты говоришь, баба?

Она с хрустом заломила руки.

— Слышите ведь... Пошел отнести Олене хлеба в сарай, они его и застрелили...

В серых глазах старика она прочла вопрос.

— Нет, немцам я его не оставила, нет. Вытащила из рва, на своих плечах домой принесла... Мы его похоронили так, что никто теперь не найдет...

— А они знают, кто?

— Откуда им знать? Убили да и бросили в ров, как собаку... Теперь, наверно, искать будут, но пока все тихо. Когда вы постучали, я уж думала — идут.

Он покачал головой.

— Так оно, значит... Сколько народу пропадает... Детишек... А ты, Сашко, запомни это, хорошеёнько запомни...

Мальчик молча кивнул головой.

— Придет отец, придут другие, чтобы ты все рассказал, все...

— Что они, сами не знают? — сухо спросила женщина.

— Знать-то они знают... Сами видят... Ну, а все-таки одно к одному прибавляется, одно за другим... Платон прежде за других им мстил, а теперь придется и за Мишку, за своего сына, отомстить...

— Все одно, — тихо сказала Малючиха.

— Конечно, конечно, все одно... А все-таки сын — это сын. Вот моего они в восемнадцатом году убили... Все я им помню, а уж это — пуще всего. Все-таки, чем ближе к сердцу, тем больней. Остался я, как старый сухарь, никому ни к чему... А так и внучата бы были, и в хате веселей...

— Внучат у вас целое село, дедушка.

— Оно, конечно, вроде и так, а все же родные дело другое...

— В рельсу бьют, собрание...

Малючиха побледнела.

— Не иначе, как о Мишке допрашивать будут...

Старик махнул рукой.

— То ли о Мишке, то ли не о Мишке... Мало ли что они еще могут надумать?

Удары в рельс не прекращались, он гудел, как колокол.

— Что ж, надо собираться, не то придут выгонять, — пойдем, дедушка?

— Ничего не поделаешь, пойдем, — он встал, тяжело опираясь на палку.

— А ты, Саша, никуда не ходи, смотри за Зиной. Как только кончится, я прибегу.

Они медленно брели по дороге в клубах мелкого снега, носившегося в воздухе. По обеим сторонам улицы откры-

вались двери хат, на дорогу выходили женщины, девушки, старики..

— Не знаете, что там такое?

— Откуда мне знать? Столько же знаю, сколько и вы. Слышу, колотят в рельс, вот и иду.

— Господи, и что только будет? — тяжело вздохнула какая-то женщина.

— А ты не стони,— сурово ответила, проходя мимо, Федосья Кравчук.— Еще и не знаешь что и как, а уж застонала...

— Да ведь, милая ты моя, уж добра не будет...

— А ты от них добра захотела? Тоже! Так много добра от них видела, что только и жди добра...

— В том-то и дело...

— А раньше времени вздыхать нечего. И раньше нечего, и после нечего,— сказала Федосья.

Никто не ответил. Все знали о Васе. Знали, откуда появились жесткие черточки в углах ее губ. Кто-кто, а она каждому имела право ответить, что не время стонать,— нет, она не стокала, хотя у нее ведь не было и той надежды, которой жили все другие: что бы там ни было, а их сыновья, мужья в армии, в партизанском отряде, они живы и увидятся с ними в счастливый час, когда последний немец сдохнет посреди села, убитый красноармейской пулей.

Из клубов снега появлялись все новые темные закутанные фигуры, народ со всех сторон собирался в школу. Так они привыкли называть это место. Здание было просторное, с большими окнами, высокими потолками, с белыми кафельными печами. Комнаты — большие, веселые. Только школы здесь уже не было. Столы и скамьи немцы изрубили на топливо, сорвали со стен карты, разбили шкафчик с наглядными пособиями, изорвали картины и портреты. Большой школьный зал дышал пустотой и холодом. Народ сходился сюда, его переполняла серая толпа стариков и женщин.

Одна Маланча Вышнева стояла в стороне. Словно невидимая межа, которую никто не решался переступить, отделяла ее от толпы. Смертельно бледная, она стояла у стены, безумными глазами глядя в одну точку. Пряди темных волос выбились из-под платка. Она не поправляла их.

Гаплик сидел за маленьким столиком на уцелевшем возвышении. Фельдфебель, с ним рядом, зевал и обводил равнодушными глазами собравшихся.

— Все здесь? — спросил Гаплик, приподымая из-за стола свое длинное, худое тело. Маленькая лысая голова закачалась на длинной шее.

— Все, — пробормотал кто-то у дверей.

Староста собрал со стола бумаги, потом положил их зачем-то обратно, перелистывая слегка дрожащими руками.

— Чего-то боится, плешивый, — прошептал кто-то в толпе.

— Видно, такую пакость выдумал, какой еще не бывало...

— Как же ему не бояться, знает, небось, — придут наши, они с него живьем шкуру сдерут..

— А не то мы его сами, еще раньше, так отделаем, что больше не захочется старостой быть!

— Как же это вы его отделаете? — спросил старый, хромой Александр, колхозный конюх.

— Что спрашивать! Знаем, как отделать! — не замедлила с ответом высокая хорошенькая Фрося.

— Молчать! Что за разговоры! Собрание началось! — рассердился Гаплик, обводя глазами толпу.

— Не видно, чтоб началось, — проворчал Евдоким.

— Да что ты! Господин староста изволил прибыть, барины его тоже тут, чего же тебе еще надо? — откликнулся кто-то.

— Молчать! — не своим голосом заорал Гаплик. — Сколько раз говорить! Чего там шепчетесь?

— Тише, бабы, тише, послушаем, что он будет брехать, — громко шмыгая носом, вмешалась Терпилиха.

Гаплик откашлялся, поднял к глазам листок бумаги, вынул из кармана очки в проволочной оправе, надел их на нос:

— Ого...

— По бумажке читать будет...?

— Новый указ, видать...

Староста поверх очков обвел глазами собравшихся. Все умолкли. Он еще раз откашлялся и тонким, пискливым голосом начал:

— «До сих пор еще жители не внесли назначенного с них натурального налога, то есть хлеба».

По толпе пронесся ропот и тотчас смолк.

— «Предупреждаю, что срок сдачи налога натурой, то есть хлебом, по ранее объявленным нормам, кончается в течение трех дней с объявления настоящего постановления».

Снова раздался ропот.

— «Кто в течение трех дней не исполнит своего долга по отношению к родине и германской армии, будет приговорен...»

На мгновение он умолк. Взгляд из-под очков торжествующе окинул толпу. Наконец-то водворилась полная тишина и все глаза были устремлены на его губы.

— «Будет приговорен, согласно предписаниям о невыполнении распоряжений властей, о саботаже, активном и пассивном сопротивлении...»

— Знаем, знаем,— громко сказал вдруг кто-то подчеркнуто спокойным, пренебрежительным тоном.

Фельдфебель приподнялся из-за стола и стал усиленно всматриваться в угол, откуда донесся голос. Но там все стояли спокойно, не сводя глаз со старосты.

— «Будет приговорен,— Гаплик повысил голос и словно захлебывался от радости, — будет приговорен к смертной казни».

Он передохнул, сделал небольшую паузу, а затем уже прочел дату приказа, подпись капитана Вернера и сложил бумагу.

— Все слышали?

— Все,— отвечал кто-то из толпы.

— Все поняли?

— Поняли, еще как поняли,— сказала Терпилиха, стоявшая у самого стола.— Поняли, как надо.

Гаплик подозрительно взглянул на нее. Но она смотрела ему прямо в глаза, спокойно, с серьезным и строгим лицом.

— Ну, когда так, хорошо..?

Толпа зашевелилась, кое-кто направился уже к дверям.

— Вы куда это?

— А разве не кончено?

— Есть еще одно дело,— строго сказал староста, и Малючиха почувствовала, что у нее снова заколотилось, затрепетало в безумном страхе сердце.

— Дело такого рода...

Крестьяне напряженно ждали.

— Сегодня ночью кто-то пытался передать хлеб арестованной преступнице.

Малючиха вцепилась в руку соседки. Чечор удивленно взглянула на нее.

— Что с тобой?

— Ничего... ничего...

Не выпуская руки Чечор, она судорожно ловила воздух ртом.

— Хлеб пытался передать мальчик лет десяти.

В толпе заговорили, зашептались, переглядываясь.

— Потихе! Мальчик лет десяти. Преступник застрелен.

Чечор окинула испытующим взглядом смертельно побледневшее лицо Малючихи и торопливо схватила ее руку другой своей рукой. Она тихо гладила пальцы женщины, впившиеся ногтями в ее ладонь.

— Держись, кума! А то он заметит,— шепнула она на ухо Малючихе.

Но Гаплик не смотрел в зал. Он гнусаво читал:

— «Тело малолетнего преступника было похищено и скрыто неизвестным злоумышленником. Знающие что-либо о личности преступника, о виновниках похищения трупа обязаны явиться к дежурному в немецкую комендатуру и сделать сообщение».

Гаплик поднес бумагу поближе к глазам, оглянулся на сидевшего рядом с ним фельдфебеля, кашлянул. Фельдфебель встал, протискался сквозь расступавшуюся перед ним толпу к выходу и выглянул в сени. Все увидели, что там стоят солдаты с винтовками. Над дулами поблескивали штыки. Люди переглянулись. Шопот и разговоры утихли.

— «...Ради обеспечения порядка и для гарантии поимки злоумышленников немецкая комендатура распорядилась...»

Крестьяне замерли в ожидании.

— «...Задержать в качестве заложников следующих жителей деревни...»

Все невольно подались вперед. Евдоким приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать.

— «...Следующих жителей деревни: Паланчук Ольгу...»

Молодая девушка у дверей пошатнулась. Ее рот приоткрылся, словно для крика, но она не издала ни звука.

— «Охабко Евдокима...»

Евдоким обвел взглядом стоявших вокруг него людей, словно удивившись.

— Что?

— Охабко Евдокима,— с ударением повторил Гаплик и продолжал:

— «Грохача Осипа...»

Коренастый крестьянин угрюмо кивнул головой.

— «Чечор Марию...»

Малючиха выпустила руку соседки и с ужасом поглядела на нее.

— Ничего, Галя, ничего... Возьмешь к себе мою мелко-ту,— тихо сказала ей Чечориха.

— «Вышневу Маланью...»

Девушка даже не шевельнулась, продолжая неподвижно глядеть в одну точку.

Вдруг старосте пришло в голову, что этих заложников можно использовать и для получения хлеба. Расстрел расстрелом, а вдруг найдется кто-нибудь, кто не боится собственной смерти, но отступит перед тем, чтобы погубить чужую жизнь? Ему уже случалось видеть такие вещи. И на собственный риск и страх — кто станет проверять, что согласовано с немцами, а что нет,— он объявил:

— Если в течение трех дней виновники не будут найдены, если в течение трех дней не начнется поставка хлеба, заложники будут повешены.

Толпа заколыхалась, снова пронесся тихий ропот.

— Все, что ли, можно уже итти?— спросила вдруг Федосья Кравчук.

Пронесся общий вздох, и все почувствовали облегчение.

— Собрание кончено. Прошу расходиться, за исключением тех, чьи фамилии я перечислил.

Крестьяне один за другим направлялись к дверям. Пять заложников, не ожидая приказа, выстроились около стола. Люди проходили мимо них, одни с опущенными головами, другие прямо глядя им в глаза.

Школьный зал быстро опустел, но народ не расходился. Среди снежной вьюги люди в ожидании стояли на улице. Из сеней вышли Гаплик и фельдфебель, за ними пять заложников, конвоируемых солдатами со штыками. Чечорина и Ольга Паланчук шли обнявшись. Евдоким с силой стучал палкой о землю. Они медленно проходили перед молчавшей толпой. Вдруг Чечор обернулась.

— Ничего это, держитесь, не поддавайтесь! О нас не думайте! Держитесь!— крикнула она ясным, сильным голосом.

Идущий рядом солдат толкнул ее кулаком в грудь. Она пошатнулась и, выпрямившись, с высоко поднятой головой пошла дальше.

Толпа расходилась медленно, в угрюмом, упорном молчании. Гаплик почти бежал, стараясь поспеть за широко шагавшим фельдфебелем. Ни за что на свете он не остался бы сейчас один. Собственно говоря, он впервые с момента назначения его старостой выступил так решительно, оглашая приказы, так непосредственно бьющие по селу. Он вспомнил лица крестьян, и мурашки забегали у него по спине. Но еще больше он боялся капитана Курта, его утренних угроз расправиться с ним, если он ничего не добьется. Село оставалось селом, толпой женщин, детей, стариков. А капитан Вернер был представитель немецкой власти, и его слова опирались на винтовки и штыки. Гаплик, который сначала изворачивался и лавировал, после утреннего разговора понял, что дальше изворачиваться нельзя, что его ждет горькая участь, и проклинал день и час, когда ушел с отступавшими от Ростова немцами. Надо было просто спрятаться, притаиться, переехать в другое место. Как-нибудь прожил бы. Не так-то скоро в военное время обнаружилось бы, что именно он принимал немцев в своем селе и указал им дорогу через болота.

— Немцы победят,— твердил он себе, но и это не утешало, пока все равно приходилось жить в этом селе, где в каждой из трехсот хат его ненавидели до глубины души и где в каждой хате мог скрываться его убийца, который не поколеблется в подходящий момент нанести удар.

Он тяжело вздохнул и пошел к коменданту доложить о собрании. Крестьяне молча расходились по домам. Малючиха шла, еле передвигая ноги от волнения. Земля качалась под ее ногами, сердце мучительно сжималось.

Саша забавлял Зину, раскладывая палочки у печки. Она взглянула на светлые головки детей, и боль в сердце стала еще острее.

— Ну как? Зина была умницей?

— Умница... Кончилось собрание?

— Кончилось... Я забегу еще к Чечорам, сейчас вернусь.

— А зачем вам к Чечорам?

— Чечориху немцы арестовали, надо ребятешек забрать,— сказала она глухо. Саша поднял голову от палочек.

— Арестовали? Почему?

— Что, ты немцев не знаешь? — ответила Федосья неопределенно и вышла. Она вскоре вернулась с тремя малышами. Самой старшей было лет восемь, как и Саше.

— Мама, мама!— кричала изо всех сил трехлетняя Нина.

— А ты не плачь, придет мама. Придет,— успокаивала ее женщина.— Садитесь-ка, сейчас приготовлю вам поесть.

Она вытащила из-под печки спрятанную там картошку, старательно обмыла ее и поставила варить нечищенную, чтобы ни одна крошка не пропала. Кроме этой картошки и малой толики ржи, спрятанной на чердаке, в избе ничего не было. Хлеб, картошка, сало, бочонок меда — все было закопано в землю далеко от дома, заморожено, завалено снегом, добраться до этих запасов было невозможно.

— Поедите картошки, больше ничего нет. Вот наши придут, тогда хлеб испечем.

— Одна картошка,— печально протянула Зина.

Малючиха обрушилась на нее:

— А ты чего хочешь? Хорошо, что хоть немного картошки-то есть... Ишь какая привередливая.

Она гневно взглянула на дочурку, и вдруг ей бросились в глаза маленькие, худые ручки ребенка, жалобные морщинки в углах губ. Ее охватила нестерпимая жалость.

— Не реви, не реви! Наши придут, все переменится. Испечем хлеба, помажу медом, будете есть. А теперь хватит и картошки...

— Хватит...— сказал грустно Саша, и Зина торопливо повторила:

— Хватит...

Малючиха растапливала печь, разговаривала с детьми, но ничем не могла заглушить нараставшего беспокойства. Все у нее валилось из рук, она забывала, о чем только что говорила, пододвигала Зине картофельную шелуху, пролила воду. Дети удивленно поглядывали на нее.

— Что с вами, мама? — спросил, наконец, Саша.

Мать испуганно посмотрела на сына.

— Ничего, сынок, ничего... Что же со мной может быть?

— Голова болит?

— Голова? Да, да, — торопливо ухватилась она за это объяснение. — Голова у меня, правда, болит.

— Это от собрания, — серьезно решил Саша.

— Ну да, от собрания... Душно очень, столько народу было... Наверно, от этого.

Дети удовлетворились этим объяснением и занялись своими делами. Малючиха мыла миску и украдкой поглядывала на играющих у печки детей. У нее холодели руки, сердце разрывалось от волнения. Три темные головки — трехлетняя Нина, пятилетний Оська, восьмилетняя Соня. Мелкота... Сам Чечор в армии. Беспокойство жгло ее, грызло, давило на сердце. Она то и дело поглядывала в окно.

— Кто-нибудь идет?

— Нет, сынок, нет, мне бы надо сходить, я сбегаю ненадолго...

— Все ходите и ходите, — собралась заплакать Зина.

— А тебе что? Надо и иду. Зря по селу не бегаю, — рассердилась она.

— Платок-то возьмите, — напомнил Саша, видя, что она направилась к двери, как стояла, в юбке и кофте.

До хаты Грохачей было недалеко. Выюга била в лицо, сыпучий, как мелкое стекло, снег резал щеки. Она запыхалась и добралась до Грохачей, едва переводя дыхание. Перед воротами она приостановилась, говоря себе, что нельзя входить в хату так, запыхавшись. Но на самом деле ей

хотелось отдалить то мгновенье, когда придется взглянуть в глаза семье Грохача. Они теперь сидят, наверно, в опустевшей хате и плачут горькими слезами,—жена и две дочери человека, который все равно что уже висит в петле.

Но со двора доносился визг пилы, и Малючиха изумилась. Кто же это работает у Грохачей в такой день?

Жена Грохача со старшей дочерью, высокой черноглазой Фросей, пилила у сарая дрова и тоже удивилась при виде Малючихи. За это время мало кто ходил друг к другу. Каждый сидел в своей хате и ждал, что еще выкинут немцы.

— Хотела бы потолковать с тобой, кума...

— Что ж, почему не потолковать,— ответила та, выпрямляясь.— Зайдем-ка в хату.

Там Малючиха взглянула на сидевшую у окна младшую дочь Грохача.

— Мне бы с глазу на глаз...

— С глазу на глаз?— удивилась хозяйка.— О чем же это таком? Ну, коли так, Лида, ступай-ка, попили немного, мы тут потолкуем.

Девушка сложила рубашку, которую чинила, воткнула иглу в грубое полотно и молча вышла. Глаза у нее были опухшие от слез.

Малючиха присела на лавку, нервно ломая пальцы. Хозяйка молча смотрела на нее.

— Вьюга на дворе,— сказала она наконец.

— Вьюга,— повторила Малючиха, и снова воцарилось молчание:

На гвозде над кроватью висела куртка Грохача. Малючиха смотрела на эту куртку. Карман оборван, на спине и груди заплаты. Одна пуговица едва держится, повисла на нитке. Рабочая куртка.

— Ты что мне хотела сказать?— поторопила, наконец, хозяйка.

Малючиха измученными глазами посмотрела на нее.

— Твоего-то забрали...— прошептала она.

Та нахмурилась.

— Забрали... Что же поделаешь, забрали... Такая, видно, судьба. Может, еще вернется. Ты об этом хотела толковать?

— Да, и об этом, и не об этом...

— Об этом что же толковать? Меня сперва так схватило за сердце, думала, вот свалюсь на месте и помру. А потом пришла домой, думаю, берись-ка лучше, баба, за работу, все легче будет. Дров напилили с Фроськой. Лбом стену не прошибешь, а сидеть и плакать — пользы мало. Сегодня он — завтра другой, если это надолго затянется, все равно тут никто жив не будет, это уж как есть... По-одному всех переключают.

— Может, не затянется?

— Я и говорю — коли затянется. Покуда ничего не слышать. Чуть что, а мне уж кажется: стреляют, наши идут. Сколько это времени прошло? Месяц. А словно уже год. И сколько людей пропало!.. Староста-то, когда моего вычитывал, поглядел на меня. А я думаю: глядишь, ждешь, чтобы заплакала, так вот не дождешься, нет! Уж я перед тобой, собачье семя, плакать не буду. Придет время, ты заплачешь, кровавыми слезами заплачешь! А деревенские бабы — народ крепкий и ничем ты их не возьмешь...

— Кума...

— Чего?— удивилась та.

Малючиха поднялась с лавки и низко, чуть не до земли, поклонилась хозяйке.

— Да ты одурела, что ли? Что ты делаешь?

— Кума, это моего Мишку немцы сегодня ночью убили...

— Мишку?..

— Это я его ночью вытащила из рва и похоронила... Это из-за меня твой и остальные сидят у немцев...

В ней дрожала каждая жилка, тряслись и подгибались ноги. Но теперь сразу стало легче. Все уже было сказано. Хозяйка наклонилась вперед.

— А зачем ты мне это говоришь? На что это кому знать? Малючиха не поняла.

— Как же? Твой-то ведь сидит... Я и говорю тебе, надо мне итти сказать ихнему капитану, что и как. Пусть отпустит людей.

Грохачиха вскочила.

— Да ты, баба, белены объелась, что ли? Совсем голову потеряла? К немцам пойдешь?

— Рассказать, как было... Люди не виноваты.

— А ты виновата? Что ж, надо было оставить им мальчонку, а? Глядите, что за народ пошел! Слабая в тебе совесть, не крестьянская, не бабья! То-то старосте радость! Стоило пятерых запереть, сразу и нашелся, кого они искали! А знаешь ты, дура этакая, что из этого выйдет? Дорогу им хочешь показать, средство против нас? Ты сегодня явишься, а завтра что случится: они не пять, а пятьдесят человек заберут! Ишь какая! У нас еще пока никто к немцам не шлялся, так вот ей понадобилось...

— Из-за меня сидят люди, из-за меня их...

— Не из-за тебя! Из-за нашего горя сидят, из-за нашего несчастья, из-за войны, из-за немецкой морды! Мишку убили... Ироды, в детей стрелять...

Малючиха стояла огушенная.

— Так ты, значит, думаешь...

— Что мне думать, думать мне нечего. Иди-ка ты, баба, домой и словечка никому не пикни. Свои-то свои, а зачем людей в искушение вводить? О таких делах никому знать не надо. За наши, за длинные языки-то нас и бьют и будут бить. Иди домой и делай свое дело, да не сходи с ума!

— Твой-то...

— Ну, скажите, люди добрые! Да это мой мужик или твой? А я сiju, молчу. Что будет, то будет. Суждено ему, так убьют. А нет, так будет жив. А уж если на то пошло, так чем под немцем жить, лучше скорей подохнуть...

— Не век нам под немцем жить!

— Да, милая ты моя, кабы мне это хоть раз в голову пришло, я бы и ждать не стала, петлю на шею, да на гвоздь! А я только одно знаю — нам теперь тяжело, а им еще будет! Ох, как им будет!

Лицо женщины пылало, глаза горели огнем ненависти.

Малючиха вздохнула.

— Ты у меня все мысли в голове спутала..

— Видно, давно были спутаны... Господская у тебя совесть и мысли глупые. А ты попросту, ты не о себе, не о себе думай, а обо всех. А как обо всех подумаешь, так и ясно: не имеешь права ничего говорить. Не имеешь права добровольно в немецкую петлю лезть! Ничего они нам сделать не могут, пусть мучают, вешают, расстреливают... Один, другой пропадет, а на всех зубы поломают... Надо держаться, пока наши не придут, зубами и когтями держаться...

Малючиха слушала и кивала головой. Ее охватила страшная слабость, покинули все силы. Ей хотелось сесть, сесть не на лавку, а на пол, и заплакать горькими слезами. О Мишутке, о Грохаче, о трех мальпшах, что остались в избе под присмотром Саши, о Васе Кравчуке, лежащем на снегу в овраге, о молоденьком Пашуке, которого застрелили возле этого оврага, о парне на виселице, обо всем селе, и о тех, которые дрались за село и принуждены были уйти, отступить перед танками, и вот уже месяц как их не видно.

— Возьми-ка ты себя в руки, а то ни на что не будешь годна,— сердито сказала хозяйка.

Малючиха молча попрощалась и пошла. Она не решилась заговорить с Лидой и Фросей, которые пилили дрова во дворе. В голове у нее шумело от окриков жены Грохача. Вот ведь какая... Всегда было известно — Грохачиха баба злая, любит ссориться, кричать, никому доброго слова не скажет. А теперь — вот она какая, выходит..?

...Саша долго складывал из палочек хату и двор, расстав-

для по хлевам и конюшням коров и лошадей. Даже маленькая Нина не плакала, занятая игрой.

— А здесь что будет?

— Здесь будут овцы, это нам новых привезли.

— Ага...

— Дай-ка уголек. Овцы будут черные. Еще один, овец ведь много...

— А кот где?— потребовала Нина.

— Кот гуляет, кот же всегда гуляет,— объяснила Зина, и Нина успокоилась.

— Немцы идут, нужно скот угонять,— решительно распорядился Ося.

— Ладно, а кто же его погонит?

— Я!— вызвалась Нина.

— А я останусь с партизанами,— решил Ося.— Ну, давай выгонять стадо.

Они отодвинули щепочку, изображавшую ворота, и вывели на простор поля белые палочки, черные угольки, все колхозное богатство.

— А куда его гнать?

— В глубь страны,— серьезно сказал Саша.— За реку,— через реку наши немцев не пустят.

— На реке могут бомбить,— вмешался Ося.

— Ничего, мы ночью перейдем,— решил Саша.— Дай-ка доску, это будет река.

Дверь с шумом распахнулась. Пять пар глаз метнулись от печки. Саша замер.

На пороге стоял немецкий солдат. Из-под тряпья, укутывавшего его голову, на детей глядели покрасневшие глаза. Он был весь в снегу. Оглядев хату и не найдя никого взрослого, он обратился к пятерым у печки. Сначала Саша ничего не понял. Он был так уверен, что это из-за Миши, что все уже известно, что мать поймали и что пришелец в зеленоватой шинели начнет сейчас раскапывать штыком могилку брата в сенях. Солдату пришлось много раз повторить, прежде чем он понял искаженное слово:

— Млеки, млеки...

— Молока нет,— глухо ответил Саша:

Солдат не отступал:

— Млеки, дай млеки...

Саша поднялся и, не сводя глаз с солдата, вышел в сени. Проходя, он почувствовал, что под ногами — могила брата, в земле лежит мертвый Мишка. Солдат внимательно следил за движениями мальчика. Саша открыл дверь в хлев и выразительным жестом показал, что там ничего нет. Да и откуда быть, ведь Пеструшку немцы выволокли в первый же день, когда пришли, и тотчас зарезали ее перед домом коменданта.

Солдат осмотрел пустой хлев. Там на полу лежало немного соломы и навоза, там еще пахло хлевом, но у обмерзшей кормушки было пусто. Да, это ясно, молока здесь достать нельзя.

В хате в это время отчаянно раскричалась Зина. Мамы нет. Саша ушел с немцем в хлев, страшно. Ей вторила всегда готовая заплакать Нина.

Солдат вернулся в хату и с бессмысленной улыбкой уставился на детей.

— Не плачь,— сказал он по-немецки, скаля гнилые, почерневшие зубы.

Зина закричала еще отчаянней. Немец взял винтовку и прицелился. Саша отчаянным прыжком кинулся вперед, заслоня собой сестренку. Он широко раскинул руки и впился глазами в покрасневшие, больные глаза, глядевшие из-под обмотанной тряпьем пилотки.

— Хо-хо,— засмеялся солдат, и дуло винтовки направилось на маленькую Нину. Нина не поняла, что происходит, но перестала кричать и широко открытыми круглыми глазами смотрела на чужого человека, на немца. Что это, немец, понимала и она.

— Застрелю,— сказал солдат. Она не поняла этого слова, но почувствовала, что в нем таится что-то страшное!

Зина умолкла. Саша напряженно следил за черным отверстием дула.

Это черное отверстие двигалось невысоко, оно нацеливалось то в одну, то в другую головку.

Вдруг Саше пришло в голову: а что, если прыгнуть, схватить винтовку?.. Как это из нее стреляют? И что будет потом, когда убьешь немца? А главное, удастся ли ему вырвать винтовку?

Немец улыбался, скаля испорченные зубы. Ему понравилась эта игра, страх в глазах детей, бледность, покрывшая их щеки, напряжение на лице самого старшего. Саша начинал понимать, что солдат забавляется. Забавляется ими, как кошка мышью. Да, солдат явно забавлялся. Черное отверстие дула то поднималось, то опускалось. Саше захотелось, чтобы немец, наконец, выстрелил, чтобы все это уже кончилось.

Он подумал, что первым немец убьет его, как самого старшего, и напряженно смотрел в дуло — пусть скорее стреляет, пусть все кончится.

Солдату, наконец, надоело это развлечение, он еще раз засмеялся, закинул за плечи винтовку и вышел не оглядываясь. Дети замерли в неподвижности, глядя на дверь. Саша ждал, — может, тот только притаился за дверью, может, только ждет, а когда кто-нибудь из них шевельнется, откроет дверь и выстрелит. Даже Нина сидела, словно окаменевшая. И вот раздались шаги — шаги в сенях. Дверь распахнулась — это была мать.

И тут только последовал взрыв. Зина кричала не своим голосом, заливалась слезами Нина, плакали Ося и Соня. Один Саша молча стоял перед матерью.

— Что такое? Что случилось? — ужаснулась она.

— Ничего, немец тут был. — ответил Саша.

— Немец? Что ему понадобилось?

— Ничего. Хотел молока.

— Ну и что?

— Ну, я показал ему, что коровы у нас нет:

— Он и ушел?

— Ушел.

— Так чего же вы все так орете? — рассердилась Малючиха. — Ушел, и ладно. Бил он вас, что ли?

— Нет, он нас не бил, — хмуро ответил Саша, и, успокоенная, она стала стряхивать в сених снег с шали, чтоб не напости его в хату.

— Ну и вьюга, никак не успокоится..:

Снаружи донесся далекий сдавленный крик:

— Что это?

— Ничего... Олена рожает, — нахмурилась Малючиха.

Дети прислушались. Протяжный, сдавленный крик несея со стороны запертого сарая. Он взмывал вверх, падал, умолкал на мгновение и снова раздавался с возраставшей силой.

IV.

Это была комната за помещением комендатуры. Четыре стены и голый пол. Когда-то здесь стояли шкафы — один библиотечный, другой с документами и книгами сельсовета и колхоза.

Стены старого дома были выстроены из могучих, толстых бревен. Немцы забили досками окно, и в комнате было темно. Светилась только щель в дверях, ведущих в помещенье немецкого караула, где горела лампа. Сюда ввели пятерых арестованных. Они услышали скрежет ключа в замке, раз, другой, потом погрузились в огороженную четырьмя стенами тьму. Ни скамей, ни табуреток не было. Глаза медленно осваивались с мраком. Они сели на полу у стены. Грохач растянулся на полу, подложил под голову кулак, и вскоре послышалось его мерное посапывание.

Но остальные не могли спать. Ольга Паланчук прижалась к Чечорихе. Она боялась. Боялась этой комнаты,

боялась темноты, боялась света за дверью. Боялась того, что будет. Чечориха взяла ее под руку, так они и сидели, прижавшись друг к другу.

Одна Малаша не жалась к людям. Охватив руками колени, она уселась в другом углу, прислонилась к стене и широко открытыми глазами смотрела в темноту. Она не думала о том, о чем думали ее подруги по заключению. Неодвижная, с напряженным взглядом, затаив дыхание в груди, она прислушивалась. Нет, она не пыталась расслышать звуки, глухо доносившиеся из соседней комнаты. Не старалась уловить, не слышно ли чего-нибудь за стеной, в сале. Сдвинув брови, она напряженно прислушивалась к чему-то внутри себя. Вот уже неделя—нет, больше, десять дней. И все еще ничего. И упорно, мучительно, думала все одну и ту же неотвязную думу: да или нет? Да или нет? Сильно стучала кровь в висках. Сердце билось. Ей казалось, что она слышит шум крови в жилах. Кровь течет, бежит по жилам, переливается по всем путям в ее теле, маленькие молоточки стучат в запястьях рук. Как, наконец, узнать, как убедиться?

Она еще раз пересчитала дни — может быть, она все же ошиблась? Но нет, опять и опять выходили те же десять дней. И ведь была причина, была причина... Десять дней. Но мысль не задерживалась на них, неслась дальше, отсчитывала день за днем, до самого того дня, который переделывала ее жизнь надвое. Малаша почувствовала физическую боль, нестерпимую муку, вцепившись мыслями в этот день. Она стиснула кулаки, так что ногти впились в ладонь, подобрала ноги, вся сжалась в комок. Невыносимое страдание пронизывало ее всю до мозга костей. Ей казалось, что она не выдержит, закричит диким, звериным голосом. Как раз так ей и хотелось кричать, пронзительно выть во все горло, рвать волосы на голове, захлебываться криком, чтобы утопить в этом крике все: и тот день, и эти десять дней, прошедших в непрерывном пересчитывании,

в новой и новой проверке счета, который снова и каждый раз сходился.

Тело извивалось от муки. Ей казалось, что она не выдержит, вот сейчас умрет. Но смерть не приходила, не так-то легко было умереть, нужно было сидеть в темноте, слушать человеческие дыхания и помнить, без единой минуты передышки помнить, что она, Малаша, проклятая, зачумленная, что она на веки веков отделена от людей, от села, от всего, что было до сих пор жизнью. И почему? Почему это так? Почему из всего села именно она?

Перед ее глазами была не тьма, а те три лица — отвратительные, склонившиеся к ней морды. Они отпечатались раз навсегда в ее памяти, как на фотографической пластинке, вечно стояли перед глазами, ничто не могло вычеркнуть их из памяти, ничто не могло заслонить их. Три лица — небритая рыжая щетина, зубы, выпирающие, как звериные клыки, из-под растрескавшихся губ, дикие глаза.

В той же комнате, несколько месяцев тому назад, она была с Иваном. Та же комната и та же кровать. Но теперь по комнате летал пух из разорванной подушки, на полу была рассыпана солома, упал с окна горшок с китайской розой, и черепки его трещали под сапогами немцев. Она не хотела, не могла об этом думать. И все же думалось, упорно, назойливо, без минуты передышки. Трое. И опять лица, рыжая щетина небритых подбородков, хохот, окрики и железные клещи омерзительных рук на ее теле, на вывернутых руках, раздираемых ногах. Потом седой клуб ворвавшегося пара и стук захлопнувшейся за ними двери. А дальше — дальше только одна ужасающая, нестерпимая мука. И эти, еще более нестерпимые, последние десять дней, когда с утра до вечера и все бессонные ночи напролет она прислушивалась к собственному телу и считала, считала до сумасшествия, и с каждым днем прибавлялся еще день, и вот их было уже десять.

Да, люди в селе гибли, пропадали. Висел в петле Леоныук. Олена, беременная Олена мучилась в немецких руках

в сарае. Но никто, никто, кроме нее, не носил в себе немецкое семя. Никто из них, гибнущих, истязуемых, не носил врага в собственном теле.

В другом углу по-детски тихо всхлипывала Ольга Паланчук. Глухая внезапная злоба, безотчетная ненависть вдруг охватила Малашу. Чего она, дура, плачет? Какие у нее причины плакать? Ее-то ведь немцы не изнасиловали, она не пережила самого страшного, что можно пережить. Чего она боится? Что их убьют, повесят, расстреляют? Малаша не верила, что это может случиться. Это было бы слишком хорошо, слишком счастливо погибнуть от руки врага. Нет, она в это не верила. Поддержат под арестом, может быть, выдумают еще что-нибудь страшное, гораздо ужаснее, чем смерть, но смерти не будет; никогда ничего хорошего не приходит из немецких рук, не может из немецких рук притти счастье. А смерть — это было бы счастье. И она снова считала дни — один, два, три. Доходила до десяти и корчилась, извивалась от муки. Вот сейчас сердце разорвется, не выдержит — этого невозможно выдержать ни минуты. Но сердце не разрывалось, и попрежнему стучали молоточки в висках, и, напряженно глядя в темноту, Малаша думала, что вот так она и будет считать, считать дни, день за днем, пока не досчитается до конца, не дойдет до срока, который должен наступить, и она, Малаша, жена красноармейца, родит немецкого убогодка.

Она все слушала, слушала. Кровь стучала молоточками в висках, в запястьи. Она положила руку на живот. Кровь стучала маленьким молоточком и там. Ее охватило непреодолимое отвращение к собственному телу. Это уже не ее тело, это гнездо фрица, которого еще нет и который уже есть, который еще не существует и все-таки существует. Если она ест, это не она ест — это жрет фриц, жрет, чтобы расти, чтобы развиваться, чтобы заклеить позором ее несчастье. Если она спит, то сон подкрепляет не ее — нет, это отдыхает фриц. Она не могла думать о нем: ребе-

нок. Ребенок — это ребенок Олены, крики которой время от времени слышны были даже здесь, в наглухо запертом помещении из толстых бревен. Ребенок — это тот неведомый мальчик, которого застрелили ночью, это трое детей Чечорихи, и дети Малиюков, и все дети, которые рождались и росли в селе и которым теперь приход немцев, рано или поздно, грозил неизбежной смертью. Это были дети. Матери рожали детей, светловолосых и темноволосых, светлоглазых и темноглазых, плачущих, смеющихся, заливающихся в своих колыбелях птичьим щебетом. Матери зачинали детей, носили их, рожали, кормили. Но то, что она носит и будет носить, то, что она родит, — это не ребенок. Волчий щенок, фриц. И этого уже никогда не изменишь, — с ужасом подумала она. Если он умрет, — а она ведь задушит его собственными руками, — это все равно не поможет. Все равно на веки вечные останется память о том, что она носила фрица, собственной кровью кормила фрица. С ненавистью и презрением будут смотреть на ее вздувшийся живот, на ее тяжелую походку беременной. Все будут уступать ей дорогу — не для того, чтобы ей удобнее было пройти, а из глубокого презрения, из боязни, как бы не притронуться к ней, немецкой подстилке, носящей в животе фрица.

Ведь все, все знали. Все жалели ее, проклинали немцев, говорили о дне, когда за все будет отомщено. Но Маланя знала, что это не так. Что можно за все отомстить — и за Пашука, и за Леонока, и за Олену, и за сожженные хаты и умерших детей, но за нее никто и никогда не отомстит. Этого уже не поправишь. Она же видит, хоть никто этого и не говорит ей, что женщины не смотрят ей в глаза, люди обходят ее, как зачумленную. Между нею и селом непроезжимой стеной стал день, когда те трое ворвались в хату, изнасиловали ее и даже не захотели застрелить, как обычно делали. Она осталась в живых, чтобы жить страшной жизнью. И, словно всего этого еще мало, мало того, что над ней надругались, превратили в грязную тряпку, те

перь еще приходится считать дни, и всякий раз выходит именно так. Она хваталась за обманчивые обрывки надежды, за проблески безумных мыслей о том, что она ошиблась, что все это не так, что это бывает и ничего не значит, что еще день, два, и окажется, что все в порядке. Но все это было напрасно, потому что в глубине души она твердо знала, что это так, что этого ничто не изменит, что она беременна.

Ей вспомнилось одно лето, солнечное, цветущее, ароматное. Ночи, серебряные от росы, высокая, по пояс, трава, сенокосы над рекой, ночлеги в шалашах, среди запаха сена, сверкания звезд, короткие шальные ночи. От тех поцелуев не родился ребенок. Сладкие, радостные ночи, шопот из губ в губы, вкус крови на зубах, трепет счастливого сердца — все прошло без следа, будто ничего и не было. А ведь их было много, этих ночей, весь сенокос. И она отдавалась тому человеку с бурной, шальной любовью, хотя потом ничего из этого не вышло и они разошлись без обиды и гнева.

А теперь было только одно мгновение, одни страшные полчаса, и вот эти полчаса должны дать плод, стать в ее жизни гниющей рапой, из которой вечно будет сочиться смердящий гной.

И потом, когда она вышла замуж за Ивана, — правда, это было короткое замужество, но все-таки были ведь счастливые ночи, и звезды смотрели сквозь щели сарая, и июньская ночь пахла теплым летом. Все это было же, было, прежде чем он ушел в армию, и тоже — ничего.

Она ходила по селу, стройная, с маленькой девичьей грудью, с тонкой талией, и парубки заглядывались на нее, весело заговаривали, забывая, что она уже замужем и ни на кого своего Ивана не променяет. Им хотелось увидеть ее сверкающие зубы, услышать веселый смех, перехватить веселую искорку в черных глазах.

А вот теперь достаточно было этого давящего, как кошмар, получаса, чтобы все сразу переменялось. Пока еще

никто не знает, пока еще ничего незаметно. Но пройдут дни, и ее несчастье предстанет перед всеми глазами, словно того было мало, словно мало, что на ней выжжена печать несмываемого позора. Нет, надо еще носить в себе фрица, в муках рожать фрица. Кто ей поможет, кто захочет быть подле нее в ее тяжкий час? Кто из женщин согласится опоганить свои руки прикосновением к волчьему отродью, к ребенку рыжего убийцы. А Ольга плачет от страха смерти. Нет, Малаша была уверена, что смерть не придет. Она не знала, что их спасет, и думала: это было невозможно — что кто-нибудь явится, выдаст мертвого мальчика и тех, кто его выкрал из немецких рук. И, конечно, никто не отдаст немцам хлеб. Она не знала, как это выйдет, почему это выйдет, но была совершенно уверена, что не умрет, что ее не убьют. А если не убьют ее, то ведь, значит, и все останутся в живых.

Чечориха сначала молча гладила руку Ольги. Но плач не прекращался, и она потеряла терпение.

— Чего ты реवेशь? Что будет, то будет. Стыдно плакать.

— Я же не хочу плакать, оно само как-то плачется,— всхлинула Ольга беспомощным детским голосом, который прозвучал в ушах Чечорихи, как голос ее младшенькой, Нины. Она смягчилась.

— Ну, тише, тише... Ничего ведь еще неизвестно...

Малаша в своем углу горько улыбнулась во тьму. Известно, отлично известно. Нет никакой надежды на смерть.

— У меня там трое остались, что там теперь с ними... А я не плачу,— сказала Чечориха. Ее вдруг охватила неодолимая тоска по детям. Хоть бы на минуту увидеть! Что-то они делают, что с ними? Взяла их Малючиха к себе или нет? А может, остались они в избе и боятся, боятся надвигающейся ночи, боятся шагов на улице, боятся так, как стали бояться всего с первого дня, когда пришли немцы и вышвырнули их из дому.

→ Вон!— орал высокий фельдфебель и ударил ее при-

кладом, когда она начала было собирать кой-какие тряпки, чтобы дети не замерзли.— Вон!— повторил он, и дети, как испаренные, выскочили из дому, Соня в одной рубашонке, на мороз, на снег.

Потом немцам хата не понравилась, они перебрались в другую, можно было вернуться, снова жить дома. Надо было только вычистить в сенях. Немцам, видно, не хотелось выходить на мороз, и они гадили в сенях, у самого порога. Им не мешало, что по всему этому приходится ходить в комнату, что в хате будет вонь. Она с омерзением собирала немецкое дерьмо и подозрительно обыскивала хату, не нагадили ли они и там. Тогда она думала, что они делали это назло, покидая непонравившийся дом. Но потом, когда они побыли в селе, оказалось, что они всюду так делают, что им попросту все равно.

Каково-то детям будет у Малючихи? Только бы Оська не дрался с Сашей, он и моложе и слабей, а такой задира, что вечно с ним беда. Домой, бывало, придет избитый, весь в синяках, вечно нарывается на драку с теми, кто посильней. С Соней легче, девочка разумная не по летам. Но эти двое, Оська и Нина... И как еще Малючиха справится со всей этой мелюзгой, ведь у нее своих двое! Как их всех прокормит в эти тяжкие дни?

Евдоким вздыхал под стенкой:

— Ишь, как Грохач-то спит...

Мерное похрапывание громко раздавалось в темноте.

— А вам, дедушка, не хочется спать? — спросила Чечориха, пытаясь отогнать от себя мысль о трех светлых головках.

— Какой уж мой сон... Мне уж давным-давно спать не хочется... Так, часа два, три посплю, а больше не спится. День-то длинный...

— Давно мы здесь? — спросила вдруг Ольга.

— Кто его знает. Время тянется, когда вот так сидишь... А видно, уж вечер; в той комнате лампа горит — значит, вечер...

— Еще только вечер,— разочарованно вздохнула Ольга,— а мне сдается, уж нивесть как долго...

— Какое там долго... А ты, девушка, возьми себя в руки, кто знает, сколько нам тут придется сидеть...

— Молода. Молодые всегда торопятся,— вздохнул Евдоким.

Чечориха в темноте обернулась к нему. Глаза уже освоились с мраком, и узкая щель в дверях пропускала немножко света. Белая голова старика неясно выделялась на фоне стены.

— Куда спешить-то? Нам уж теперь спешить некуда, дедушка... Сколько здесь просидим, то и наше, а дальше уж ихнее...

— А если наши придут?— робко вмешалась Ольга. Ведь не может быть, думалось ей, чтобы уж совсем не было выхода, чтобы двери темного чулана могли открыться только в смерть.

— Да ведь немцы дали сроку только три дня.

— А в эти три дня?

— В такую-то вьюгу?.. Трудно. Как тут итти, как тащить пулеметы, пушки? Ведь собственного носа не видно в метели, в любом овражке, в любом долочке может снегом занести...

Чечориха говорила спокойно, но вдруг поняла, что не верит собственным словам.

Снег снегом, а все же они ждут каждый день, ждут упорно, с непоколебимой верой. Ведь вот еще сегодня утром могла же она думать, что они придут, что, может, они уже около Лещан, может, уже спускаются в овраг или взбираются по тропинке в гору — почему же им теперь не притти? Вьюга была и вчера, и позавчера — что им вьюга! Им укажут и тропинки и проходы, своя ведь, родная земля. Они знакомы и с вихрем, и со снегом, им не впервые...

Да, Ольга права. Они могли притти. Могли притти как раз в один из этих трех дней, что остались до смерти.

Вдруг затрещат двери, загремят выстрелы, и все они выйдут на белый свет, увидят своих родимых бойцов, а потом скорей-домой, скорей к Малюкам за детьми...

— Может, они уже идут. Под покровом темноты, под прикрытием ночи, за завесой вьюги, которая заглушает все звуки, они теперь тихо крадутся к селу и вдруг ударят, как гром, сокрушат, разобьют, раздавят, как клопа, немецкую банду, что присосалась к селу и пьет из него кровь.

— А может, и придут,— сказала она вслух,— может, и дождемся.

— Думаете, придут? — спросила Ольга.

— А может, и так,— пробормотал Евдоким.— Ох, пора, уж пора бы!

— Нас найдут, все ведь знают, куда нас заперли,— лихорадочно зашептала Ольга. В этот момент ей казалось, что самое важное, чтоб их нашли, чтобы тотчас же открыли дверь, чтобы не сидеть здесь ни одной минуты, когда немцы уже побегут в метель и снег под ударами красноармейских штыков.

— Об этом не беспокойся, пусть бы только пришли,— успокаивала ее Чечориха.— Ты так говоришь, будто они уже возле села.

— А может, и вправду?

— Может, и вправду,— повторила та и стиснула пальцы так, что они хрустнули.

Малаша продолжала упорно смотреть в одну точку во тьме. Да, им-то хорошо ждать, они могут надеяться, для них это было бы спасением. Но ей никто не может помочь, ее никто не может спасти. Придут свои — и что из того? Ни выйти им навстречу, ни поздороваться, ни порадоваться на них. Кружку воды им не подашь, в хату не позовешь. Кто она? Немецкая подстилка. Она посит в животе фрица, она проклята навеки. Придут свои, оживет село, запоют на улицах девчата, будут зубоскалить с красноармейцами. Будут любиться по хатам, и никому и в голову не придет осудить — свои ведь. Неужели же девчатам

жалеть для них поцелуй, когда неизвестно, останется ли в живых тот или другой еще месяц, неделю, день? Только на нее одну никто и не взглянет, от нее каждый отшатнется. И если даже война кончится, если даже Иван вернется — к ней он уже не зайдет. Ему расскажут, и он обойдет стороной хату, а если встретится на улице, пройдет мимо, как незнакомый, а может, еще и сплонет.

Там, в другом углу, слышится шопот Ольги. «Небось, подальше сели, подальше», — подумала она ядовито, забывая, что сама подождала, когда они разместятся, и ушла от них в самый дальний угол. Да, Ольга может ждать, Ольга может бояться смерти, Ольге есть зачем жить. Вернется из армии Остап, они поженятся, будет она жить, как все живут, будет работать, как все работали до войны, будет рожать Остапу детей. Только одна она, Малаша, самая видная девушка и самая лучшая работница во всем селе, никогда уже не будет такой, как до войны.

Федосья оялает Васю, пройдут дни, месяцы, и она будет спокойно вспоминать о сыне. Дело простое, и не он первый, не он последний погиб за родину. Забудут свое горе и Левонюки — у них ведь еще два сына и две дочери. Когда ребята вернутся с войны, дом будет полон. Отстроятся разрушенные немцами хаты, в садах вырастут новые деревья на месте тех, которые фрицы беспощадно вырубали на топливо. Заживут раны, и все снова будет, как бывало. Только для нее одной ничто не вернется и ничто не забудется. Перед всеми какой-то путь, перед одними труднее, перед другими легче, только перед ней нет уже никакого пути.

Как она, бывало, радовалась, что она красивей всех в селе, что она работает лучше всех в колхозе, что хоть десяток девчат кругом, а все глаза обращены на нее. Что в песне ее голос звучит чище и звонче всех голосов, что ни у кого нет таких глаз, таких кос, таких смуглых и румяных

шек, таких крутых и тонких бровей. И она высоко носила голову, счастливая своей красотой.

Но и это обернулось горем и злосчастьем. Лучше бы ей быть морщинистой и увядшей, как бабка Марфа. Лучше бы ей быть кривой и горбатой, как хромая Устя, безобразной, как рыжая, веснущатая Клава. Нет, она не такая, и этого было достаточно, чтоб ее заметили те трое и обрекли на гибель.

Из-за дверей время от времени доносились голоса и шаги. Там были немцы. Они распорядились здесь в селе, словно у себя дома. Чувствовали себя хозяевами. Малаша жала кулаки. Они ведь не только здесь. Они и в Киеве, куда она раз ездила на выставку. Они ходят по широким киевским улицам, ходят мимо золотых киевских башен, топчут сапогами киевскую мостовую. Они в Харькове, и топчут сапогами харьковскую мостовую. Они ходят по украинской земле и топчут ее солдатскими сапогами. Не только она, Малаша, нет — вся украинская земля изнасилована, опозорена, оплевана, растоптана врагом. Горбда обращены в развалины, и ветер разносит пепел сел, валяются непогребенные трупы, качаются на виселицах мертвые тела. Земля насквозь пропитана кровью, залита слезами.

Но наступит день, и освобожденная земля снова раскинется под золотым солнцем. Покатит свободный Днепр, зашумят Ворскла, Лопань и Псел. Буйные воды омоют землю, смоют с нее мерзость и грязь. Пропитанная кровью пашня даст стократный урожай. Необъятным морем заколосятся пшеничные просторы, чистым золотом загорятся поля подсолнухов, зацветет мальва в садах, и гряды покроются огненными шариками помидор. Земля снова зацветет, снова чистая, великолепная, до краев налитая богатством.

А она, Малаша, уже навсегда останется тем, чем стала, жалким отребьем, перед нею закрыты все пути. Невольный стон вырвался из ее груди.

— Не спишь, Малаша?— спросила Чечориха.

Малаша вздрогнула. В голосе женщины ей послышалась принужденность, и ее охватил гнев. Не хочешь, не разговаривай — зачем притворяться?

— Не сплю. А вам что до этого?— спросила она резко.

— Так спрашиваю.

— И спрашивать нечего. Уж вы только обо мне не любопытствуйте.

— Почему же так? У всех ведь у нас одна судьба.

Малаша засмеялась резким, неприятным смехом.

— Как же, у всех одна! А у меня вот другая.

— Ну, что же, несчастье...

— Да, вы вот как раз знаете, что такое несчастье! — В ней поднималась глухая злоба, которую не на ком было сорвать. — Сидели бы да молчали, когда вам хорошо. Вы слышите, как Грохач спит.

— Не разговаривайте с ней... Злая она, — тихо шепнула Ольга, тронув за рукав Чечориху.

Малаша услышала.

— И правильно, что со мной разговаривать? Я злая, известно, злая. Ты вот добрая, как же!

Женщины умолкли. Малаша тяжело дышала, глядя в темноту.

Ей вспомнилось, как о ней написали в газете, во время уборки хлеба. Ах, тогда она не была злая. Девчата и бабы обнимали ее. Фотография была в газете. Малаша вышла на ней не совсем хорошо, лучше всего видны были сверкающие в улыбке зубы, лицо терялось в тени. Но все-таки была фотография в газете, и о ней, Малаше, было напечатано как о передовой колхознице. Что ж, и было ведь о ком писать... А теперь она, Малаша Вышнева, передовая колхозница, носит в животе отродье вшивого фрица.

За стенами выл ветер. Он слышен был сквозь толстые

стены, сквозь могучие бревна, из которых был сложен дом. Грохач вдруг проснулся и оглушительно зевнул.

— Ну и сон у тебя,— с завистью сказал Евдоким.

— А что ж, выспаться не мешает. Кто его знает, что дальше будет.

— Чему ж быть? Известно, что будет.

— Могут наши притти,— торопливо сказала Ольга. Ей хотелось, чтобы и Грохач подтвердил, что они придут, что они могут притти.

— Оно, конечно, могут... Но, чтобы как раз в эти три дня...

— Или наши партизаны придут..:

— Ну, уже это нет,— возразил крестьянин.— Им сюда сейчас не пролезть! Они далеко в леса ушли, в лесах сидят. По такому снегу им нечего и думать сюда пробираться. Выследят, перебьют. Летом — другое дело, летом пройдешь, где хочешь, каждый кустик укроет, приютит. А теперь пусть уж лучше дожидаются весны, из лесу пусть их кусают. В такое время нечего выходить в открытое поле.

— А армия?

— Армия другое дело. Армия может напролом итти.

Ольга вздохнула.

— Ветер как воет..:

— Говорят, что в такое время смерть ходит по свету,— сказал Евдоким.

Ольга почувствовала, что по ее спине пробежал озноб. В комнате было темно, страшно, охота же старику говорить о таких вещах.

— А что ж, и правду говорят,— глухо подтвердила Чечориха.— Ходит она по нашей земле, ох, ходит...

Они умолкли, словно прислушиваясь к шагам за толстой стеной, словно могли увидеть ее, эту идущую по дороге смерть.

— Теперь две смерти,— заметил старик.

— Как две смерти?

— Известно, две... Одна немецкая, что наших берет. А другая та, что немцев сторожит.

Ольга теснее прижалась к Чечорихе.

— А вы бы, дедушка, не рассказывали... Страшно.

— Ты страшного не бойся,— сурово сказал Грохач.— Теперь и свет страшный и люди страшные... А надо свое знать, и бояться нечего. Ты только испугайся один раз, с тобой и сделают все, что захотят.

— Кто?

— Как кто? Немцы... Им это самое главное — страх на людей нагнать. Раз уж ты боишься,— значит, пропал. А когда ты страха до себя не допустишь, так и немец тебе ничего не делает.

— Васька их не боялся, а все равно его застрелили. И Пашук...

— А я разве говорю, что не застрелят? На то у него и винтовка в руках, чтобы стрелять, на то он и немец, чтобы убивать. Я не о том, не в том сила...

— А в чем сила?

— Да ты сама-то не знаешь, в чем?

Она молчала, не зная, что сказать.

— Сила в том, чтобы держаться за свое и не уступать. Сила в том, чтобы молчать, когда надо молчать. Чтобы словечка из тебя выжать не могли. Самое главное — знать, что это кончится и ни один из них отсюда живым не выйдет. А что застрелят?.. Эх, молода ты еще... Сколько в ту войну, да в гражданскую войну народу погибло... А в восемнадцатом году мало у нас немцы разделявали? И что же? Ни следа, ни знака от них не осталось. А мы остались. Земля осталась, и народ на этой земле — значит, все осталось.

— Ох, губят они сейчас народ, хуже, чем в восемнадцатом, губят.

— Конечно, хуже. Ну, только всех не погубят. Будет кому и обсеяться и отстроиться заново. Подожди, дожи-

вем — увидим, а не доживем, другие увидят, как все будет. Еще лучше, богаче, умнее, чем было до войны...

Ольга вздохнула.

— Все-таки хочется самой увидеть...

— Ну еще бы! Тебе сколько лет-то?

— Девятнадцать.

— Девятнадцать... Дедушка Евдоким, когда это нам с вами было девятнадцать?

— Ишь ты, придумал,—рассердился Евдоким,—у меня уж борода поседела, когда ты еще пешком под стол ходил...

— Оно так. Ну, а перед ней-то и я уж старик. Понятное дело, девка, что самой увидеть хочется... В девятнадцать-то лет, хо-хо! Мы с дедушкой постарше тебя, и то нам хочется самим увидеть...

— Посмотреть, как будет после войны...— грустно вздохнула Ольга.

Грохач вдруг вскочил.

— Нет, я бы не только это хотел посмотреть! Я бы вот посмотрел, как последний немец подойдет тут, в нашем селе! Посмотрел бы на последнего немца на виселице в Киеве! Поставить виселицу на горке у Днепра, и чтобы на ней висел последний немец. И еще посмотреть бы, как сюда привезут тех, что в войну там у себя сидели, плели веревку на наши шеи, как они будут работать, сожженные села отстраивать, разрушенные города заново ставить, по кирпичику собирать. Помните, как было в газете написано? По кирпичику!

— Уж лучше бы самим все сделать, только бы их тут больше не видеть,—заметила Чечориха.

Евдоким вздохнул:

— Народ у нас больно мягкий, ох, мягок народ... Сегодня озлится, а завтра обо всем забудет... Не умеет наш народ злобу в сердце носить.

— Не бойтесь, дедушка, добрый-то добрый, а как проберет его до самой печенки, так уж держись! А ведь про-

брало... Как тут забыть? Этого и в смертный час не забудешь! Не-ет!

Малаша прислушивалась, спя в своем углу. Иные слова Грохача казались эхом ее собственных мыслей. Да, да, увидеть на виселице последнего немца, увидеть, как они будут работать до седьмого пота... Но ей-то это облегчения не принесет. Всякий может расквитаться и успокоить сердце, но ее сердце никогда не успокоится. Вечно будет смердящим гноем сочиться из него воспоминание, которого не смоет никакая кровь, никакая месть, никакое время.

Последние слова Грохача словно повисли во мраке, словно загорелись огненными буквами на темных балках потолка:

— Разве это хоть в смертный час забудешь?

И Малаша ответила: «Нет!»

— Пить хочется,— шепнула Ольга.

— А ты не думай об этом,— сурово ответил Грохач.— Воды они не дадут. Три дня выдержишь и без воды! Тут не жарко, сидишь, ничего не делаешь, выдержишь! Только думать не надо, а то пить захочется.

— Ох..

— Постыдилась бы ты, девка,— вмешалась Чечориха.— Стонешь и стонешь... Одной тебе, что ли, плохо? Кому сейчас в селе лучше?

— Мы ведь заложники..

— Ну и что из этого? Обещали через три дня расстрелять? Ну, что ж? Ты, что, не слышала? Вон они хлеб велели сдавать. Расстрелом грозятся. А разве кто сдаст? Над всеми нынче смерть висит..

Наступило молчание. Ольга слушала, словно пытаюсь услышать шаги расхаживающей по селу смерти.

А село, казалось, тихо спало под вой метели, в клубях мечущегося вверх и вниз снега. Хаты притаились, будто прилегли к земле. Со свистом ветра сливался крик рожавшей в сарае Олены — видно, все еще не могла разродить-

ся. Но кроме этих воплей не слышно было ни одного звука, словно все спало глубоким сном.

Но люди по хатам не спали. Все слышали то, о чем говорил Евдоким,— по селу ходила смерть. Она вилась белыми клубами по дороге, пролетала в вихре над крышами хат, белым призраком врывалась в щели стен, взлохмачивала соломенные крыши, безжалостно трепала последние липы у дороги, еще уцелевшие от немецких топоров. Она принадала ледяной грудью к земле, могучими крыльями охватывая землю.

Там внизу, в овраге, лежали убитые люди. Смерть перекатывала снег, заметала их останки. Она со свистом засыпала черное лицо Васи Кравчука, каждый день заботливо очищаемое матерью. Насыпала белые курганы на тела красноармейцев, павших месяц назад под селом. Здесь, в овраге, было ее царство, здесь, в овраге, вповалку лежали под снегом убитые, обращенные морозом в камень и дерево.

Смерть колебала, раскачивала на виселице тело Левонюка, что пытался пробраться к партизанам. И это тело было черное и окаменевшее. Скрипела веревка. Когда ветер сильнее раскачивал останки, ноги повешенного ударялись о столбы с глухим, твердым стуком.

Смерть воющим вихрем билась у ворот сарая, где на соломе рожала Олена.

Смерть ждала своего часа, хохотала, закатывалась хриплым смехом, носясь над селом. Люди слышали ее. Люди не спали по хатам. Они неподвижно лежали в постелях, с глазами, устремленными в потолок. Они слышали ее во мраке, воющую немецкую смерть. Она радовалась, хохотала, острила когти, немецкая смерть. Она ждала обильного урожая. Это уж был не только застреленный в овраге Пащук, не только Левонюк, повисший в немецкой петле. Это над всеми, над всеми нависла немецкая петля, во все сердца нацелилось черное дуло винтовки.

Заложники говорили лишь о том, о чем думали все, что гнало сон от всех глаз в эту воющую вихрем и смертью ночь. Старый Евдоким первый прервал воцарившееся молчание:

— Этого и быть не может, чтобы всех расстреляли... Как это так? Все село? Хлеба ведь никто не даст...

— А им что? — грубо рассмеялся Грохач. — Впервой, что ли? А что они сделали в Леваневке? Что они сделали в Садах? В Костинке?

Перед ними вставали призраки уже несуществующих сел. Сожженной догла Леваневки, где за один выстрел из-за угла в немецкого солдата немцы подожгли с четырех концов поселок, стреляли в выскакивавших из огня крестьян, на глазах матерей кидали в пламя детишек. Призрак Садов, где все население, сто пятьдесят человек, было загнано в яму, откуда когда-то брали глину для кирпичного завода, и взорвано гранатами. Костинка, в которой казнили всех мужчин, а женщин с детьми выгнали в одних рубашках на сорокаградусный мороз, и они погибли по дороге в соседние села, где искали спасенья.

— Сады, Леваневка, Костинка... Это в нашем районе, а в других? Что они делали в Киеве, в Одессе, в других городах? Что осталось от местечек и сел? А в восемнадцатом году? Эх, дедушка, будто в первый раз это видите и слышите...

Ольга закрыла лицо руками и сидела молча. Только что ей казалось, что все будет хорошо, что вот-вот раздадутся выстрелы, раздастся знакомое родное «ура» и дверь с шумом распахнется... Свобода, жизнь! А они говорят все о смерти да о смерти, и словно она должна притти и неизбежно придет, и сердце Ольги наполнялось ужасом оттого, что они говорят так спокойно, словно это мелочь какая. «Им хорошо, — с горечью думала она, — Евдоким

отжил свое, сколько ему лет-то? Восемьдесят, говорят, песок сыплется, в такие годы легко умирать... Грохач... Грохач еще в восемнадцатом году воевал, у него взрослые дочери и баба, злая, как собака, что ему? Чечориха...— Ольга заколебалась.— Ну да, у Чечорихи трое маленьких детей, муж в армии. Ну да, но у нее все-таки уже есть муж, все-таки дети, а я что в жизни видела? Им хорошо говорить...»

— А хлеба все равно никто не даст,— сказал Евдоким.

— Конечно, не дадут,— подтвердила Чечориха.

И так думали все, по всему селу, до последней хаты над врагом. Хлеб был старательно, заботливо спрятан, законан, зарыт. Хлеб лежал в вырытых далеко в поле ямах, в замерзшей, жесткой, как камень, земле. В земле лежали золотая пшеница, и рожь, и ячмень, и все, что не успели сдать Красной армии, что осталось у них от нестоимого, золотого, щедрого, невиданного осеннего урожая. Заботливо укрытое, лежало в земле золотое зерно. Лежало под толстым слоем земли, лежало под снежными сугробами, нанесенными выюгой. Никому не найти, никому даже не догадаться, где находятся тайники. Разве только немцы решились бы перекопать сотни гектаров, рыть на два-три метра вглубь. Ведь лежащее в земле золотое зерно — это не просто зерно, дающее селу хлеб. От хлеба можно было отказаться ради жизни.

Но в земле лежало утаенное, скрытое, недоступное насытому немецкому глазу золотое сердце родины. Лежал урожай, который земля доверила крестьянским рукам, цвет этой земли, ее тяжкий золотой плод. Дать зерно — значит дать хлеб немецкой армии. Дать зерно — значит накормить шинных фрицев, насытить их голодные желудки, согреть их гноящиеся, обмороженные тела. Дать хлеб — значит нанести удар в сердце тех, кто в морозы, выюги и метели героически, самоотверженно, самозабвенно дрался с врагом. Дать хлеб — значит предать землю врагу, изменить своим, признать перед всем миром, что не-

мец — господин золотоносной украинской земли, что он — хозяин в украинских деревнях. Дать хлеб — значит предать самого себя и своих, не выполнить приказа, который облетел все села, дошел до всех ушей, запал в каждое сердце: ни куска хлеба врагу! Дать хлеб — значит отречься от родины, продаться врагу, изменить тем, кто погибал и в эту войну, и в гражданскую, и в восемнадцатом году, и еще раньше, — изменить всем, кто боролся за свободу человека, кто завоевал ее кровью своего сердца.

И в селе, где на своей земле, в своем богатом колхозе жили бывшие батраки, не заколебалось ни одно сердце. Женщины рассчитывали, обдумывали, как будет, когда их не станет. Пожилая Ковальчук слушала в темноте дыхание своих восьмерых детей, спавших на кровати и на печке. Спокойно, по-хозяйски рассчитывала, что Лена, уже большая девочка, может заняться младшими. Обстирать, обшить. Придут свои — в земле довольно запасов, чтобы всех прокормить. А пока что будут перебиваться, как и другие. Вишенкова склонялась в темноте над колыбелью своего младшенького и перебирала в уме, кто сможет кормить малютку, у кого есть грудной ребенок. Она знала, что ему не дадут умереть, что найдется мать, которая накормит его собственной грудью.

Грохачиха смотрела в темноту и спокойно раздумывала, как же получается: Грохач сидит заложником, кто же будет отвечать за несдачу хлеба, он или она? Решила, что все-таки она. Но это ее не беспокоило. Маленьких детей нет, девушки взрослые, управятся.

Со сжимающимся от горя сердцем думала молодая Баниук, что вот теперь не дождется мужа. Месяц тому назад он прислал письмо, что лежит раненый в госпитале, а когда выйдет, может, получит на несколько дней отпуск домой. Месяц прошел — в деревню пришли немцы, а когда придут свои, ее не будет. Ей стало жаль не себя, а мужа. Мягкий, беспомощный, тяжело ему одному будет.

Люди лежали в темноте, думали. Каждый по-своему,

каждый о своем. Думали о хлебе. Он сыпался золотистой струей, катился живым потоком, — золотая кровь земли, ждал в земле лучших дней, когда придут свои. Люди лежали по хатам, такие разные, непохожие друг на друга. Но в эту ночь все знали и думали одно; и без разговоров, без рассуждений, каждый за себя, твердо и бесповоротно решили, что хлеб останется в земле, что не вырыть его немецким лапам из тайников и что это дороже жизни.

Над селом с хохотом, стоном, визгом, в шуме вихря носилась немецкая смерть. Страшная, шумная, жестокая, хохочущая над своей жертвой. По хатам все слышали ее.

Немецкие солдаты, в эту ночь стоявшие на постах, замерзавшие в карауле, пугливо озирались, стараясь потише ступить по снегу. Они тоже слышали смерть. Она таилась, подкрадывалась, подходила совсем близко, дышала в лицо беззвучным ледяным дыханием. Они чуяли ее, притаившуюся во рву, укрывшуюся за углом хаты, без шелеста взбирающуюся на соломенные крыши. Она смотрела на них тысячами ледяных глаз, сжатыми губами, без слов, произносила приговор. Переступала через сельские плетни, оставалась у изгородей, наклонялась над колодцами. Она была везде, они всюду чувствовали ее, немецкие солдаты. Смерть шла рядом с ними по сельской улице, вместе с ними останавливалась у хат, не покидала их, когда они входили домой, затаивала их глаза черной пеленой тяжелого сна. Они ощущали ее холодный взгляд на своем теле, их пронизывали ее невидимые глаза, замораживало дыхание ее невидимых уст. До мозга костей проникала она, молчаливая, неумолимая украинская смерть, которая считала, пересчитывала их костлявым пальцем.

V

Ветер шумел и пыл, сарай трещал, словно вот-вот сорвется с места, свалится вниз, в овраг. Балки тряслись, соломенная крыша шелестела, ветер выхватывал клочья со-

ломы и уносил их далеко за село на равнины, на снежные поля, терявшиеся в туманах пляшущего снега.

Олена кричала. Кричала во весь голос. Ее тело разрывала дикая боль. Не только родовая, — теперь отозвались все удары прикладов, все уколы штыком, все падения на землю, когда солдаты гоняли ее ночью по дороге, отозвались холод, жажда, голод. Все это накинuloсь на нее, как стадо голодных волков, кусало, рвало хищными зубами. Казалось, тело разрывается на куски, горит живым огнем, казалось, его пронизывают тысячи отравленных лезвий.

Олена кричала. Теперь можно было кричать. Она ведь рождает — и можно было сломить печать молчания, которую наложила напряженная до последнего предела воля. Она молчала с того момента, когда немцы вытащили ее из дому, и до той самой минуты, когда она поняла, что, наперекор всему и вопреки всему, она рождает. Что ни удары прикладов, ни падения на снег, ни мороз не убили ребенка в ее лоне. Он был жив и хотел выйти на свет, рвался на свет, пробивал себе дорогу, безжалостно раздирая ее тело.

Она кричала нечеловеческим, звериным криком, и этот крик приносил ей облегчение. В нем тонула боль, исчезал холод, умолкал ветер, мрачно воющий за стенами.

Ворота сарая заскрипели. Она даже не повернула головы. Схватки были все чаще, все сильнее, и она кричала, кричала, как ей хотелось, как требовало измученное тело.

Солдат остановился в дверях и хотел прикрикнуть, но понял, что женщина рождает. Через мгновение появился другой. Они смотрели, смеялись, переговариваясь между собой. Но ей было безразлично, что вот она лежит нагая на соломе, что на нее смотрят бесстыдные глаза чужих мужчин, что они насмеваются над ней. Она рожала ребенка, и это, как стеной, отгораживало ее от мира, в котором царили немцы, это заслоняло ее от бесстыдных взглядов,

это, как броней, защищало ее от их глупого хохота. Она рожала дитя, и они, видимо, решили дать ей родить, они стояли в дверях и, не входя, ожидали.

Крик усиливался. Бабы в соседних хатах крестились, устремляя полные ужаса взгляды на клубы метели. Олена Костюк, одна, без помощи, рожала в холодном, пустом сарае. Они думали, что она уже умерла, погибла от мороза, что давно в ее лоне мертво дитя. А вот Олена рождает, и возле нее нет никого, кто бы подал ей воды, кто освежил бы запескшиеся губы, подложил бы подушку под голову, помог бы ей дружеской рукой. Она рожала, как никто никогда в селе не рожал — голая, на морозе, брошенная на глиняный пол сарая. Бабы крестились, стискивали зубы, зажимали уши, но любопытство брало верх и заставляло снова прислушиваться. Кричит еще? Да, она еще кричала, кричала сильным, оглушительным криком — и откуда только он брался в этом измученном, избитом, истерзанном теле.

Наконец крик перешел в вой и оборвался, умолк.

— Родила, — шепнула Малючиха, хата которой была ближе других к сараю, и опустилась на скамью.

— Родила, — повторила маленькая Зина.

В первое мгновенье Олена лежала, как оглушенная. Вот он, ее ребенок. Наперекор всему и всем он все же появился на свет, дитя отца, который уже убит, дитя матери, которая по-настоящему должна бы уж десять раз кончиться. И вот — сын. Маленькое красное созданище.

Она взяла его на руки. Бабки не было, некому было сделать, что полагается, и она, как собака, перегрызла нуповину, перевязала обрывком бахромы от платка, оборвавшейся еще в первый день, когда она лежала здесь, перед следствием. Она обтерла ребенка леденеющими руками, мечтая о горшке воды, о нескольких каплях воды, чтобы обмыть ему хоть личико.

Он крикнул естественным, здоровым голосом здорового ребенка. У Олены захватило дыхание. Это сын. Первый

сын в ее жизни, первое дитя ее тела, бесплодного до сорока лет. Теперь он есть. Несмотря ни на что родился.

— Микола, сын,— захотелось ей сказать, обрадовать мужа, отплатить ему за всю его доброту. Ведь никогда, никогда за все эти годы, хотя ему так хотелось ребенка, он не попрекнул горьким словом, не оскорбил ее, не обругал. Вот взял, мол, неродиху, бесплодную, с виду и сильна, и здорова, а внутри, видно, гнилая, не то, что другие женщины, что беременеют, рожают, кормят.

Она даже не сразу поверила, когда она вдруг почувствовала себя беременной. Ведь уже старая, сорок лет. И все-таки, оказалось, правда.

А потом Миколу взяли в армию. Он прощался с ней, но она знала, что больше всего ему жаль расстаться с этим еще неродившимся ребенком.

И вот Миколы нет, погиб на фронте, а ребенок родился, и как раз сын. Родился в немецкой тюрьме, под бесстыжими взглядами немецких солдат, которые не умеют уважать даже родящей матери, родился под их бесстыжий хохот.

Ребенок лежал на соломе, на мокрой, холодной соломе. Она схватила его на руки, голенького, прижала к голой груди, она дышала на него, пытаясь согреть. Ее охватил неопиcуемый ужас, что вот он, несмотря ни на что, родился, а теперь застынет, как голый птенец, как слепой котенок, на холоде. Олена старалась отогреть его собственным телом, вдохнуть в него собственное тепло, но чувствовала, что леденеют ее руки, что всю ее охватывает пронизывающий холод, что застывает кровь в жилах. Солдаты у дверей о чем-то поговорили между собой, потом один ушел и вскоре вернулся.

— На,— сказал он небрежно.

На солону полетели рубашка, юбка, кофта. Ее собственная одежда, все, что с нее сорвали вечером, перед тем как выгнать на дорогу. Олена недоверчиво взглянула на солдата. Он глуповато ухмыльнулся. Дрожащими руками

она схватила рубашку, завернула ребенка в полотно, старательно закутала его. Маленькое личико, обрамленное тканью, было смешное, кукольное, с мутными голубыми глазами, похожими на глаза едва прозревших щенят. Она захлебнулась от счастья. Есть во что завернуть ребенка. В это мгновение она забыла обо всем остальном — это было самое важное. Казалось, теперь уже все будет хорошо, кошмар миновал. Дрожащими руками она надевала юбку и кофту. Это не могло согреть ее, но она все же почувствовала облегчение, покрыв голое, настрадавшееся тело этими тряпками. Полушубок и платок... вот если бы полушубок и платок, что остались в комнате офицера... Но она заставила себя молчать. Хватит и того, что есть, ребенок лежал завернутый в чистое полотно, закутанный так, что холод ему пока не угрожал. Она положила его себе на колени, закутала еще в сборки юбки. Он лежал спокойно, видимо, не чувствуя холода, — чего же еще желать? Уже и то, что она получила, было чем-то совершенно необычным, каким-то чудесным событием, которого она не понимала. Она же ясно видела, что одежду ей бросил немец, но не могла понять этого. Юбка, кофта и рубашка как будто упали с потолка или их занес в сарай ветер со снежных полей.

Ворота со скрипом закрылись. Она прислонила голову к бревну и впала в дремоту, в лихорадочный полусон. По спине пробегал озноб, ее охватывали то жар, то холод, в полусне что-то мерещилось. По дороге шел Микола, а напротив стояла та чернявка, офицерская любовница, Микола что-то говорил, и Олену вдруг кольнула в сердце неудержимая хищная ревность. Она вздрогнула, очнулась и изумленно озиралась кругом. Нет, не было ни Миколы, ни офицерской любовницы, был сарай, охалка соломы и сын на руках — белый сверток с красным личиком, маленьким, круглым. Она с испугом подумала, что могла во сне выпустить ребенка, и крепче прислонилась к стене. Слова ее охватила дремота.

Непрерывным потоком поплыли спутанные обрывки воспоминаний. Орет приказчик... Но как же это может быть, ведь его убили тогда, он упал мертвым от удара колом, и вдруг он стоит и орет, а мимо проходят красноармейцы, но среди них нет Миколы, среди них Кудрявый. Кудрявый машет рукой, он песет большую штуку полотна. Полотно разворачивается, разворачивается в бесконечную дорогу, тянущуюся через село, и по этой узкой белой дороге семянит ножками недавно родившийся сын.

— Смотрите, он уже бегаёт,— удивилась Федосья Кравчук.

Олена тоже так удивилась, что снова очнулась от дремоты.

В горле жгло, мучительно хотелось пить. Язык одеревенел, шершавый и колющий, он лежал во рту, словно чужой. Губы потрескались, она притронулась к ним рукой, и на пальцах остался след крови. В ушах стоял шум, кости ломило, безграничная слабость поднималась откуда-то изнутри. Она посмотрела на ребенка, коснулась его лобика, он показался ей холодным, как лед, но она поняла, что это ее сжигает лихорадочный жар. И опять задремала. Ей снилась вода, вода, вода без конца, текла река, разливалось озеро, а у нее были дырявые ведра, и она не могла набрать воды. Она стала на колени и яснее, чем наяву, увидела прорубь. Края были зеленоватые, темная вода переливалась, двигалась, как живая, булькала, вырываясь на свободное пространство, и снова исчезала подо льдом, бежала в свой дальний путь. На льду толстым слоем лежал снег и в одном месте сыпался тонкой струйкой в воду, словно мука из отверстия жернова. Упав в воду, снег вдруг зеленел, сбивался в комок, плясал в проруби. Олена хотела поймать этот снег, поднести к пересохшим губам, но вода унесла его под лед, и он исчез.

Вдруг вокруг проруби появились длинные трещины, лед стал с треском ломаться. Олена почувствовала, что она колеблется, что под ней открывается водная провасть. Она

очнулась, не в силах поднять голову. Слышала спокойное, ровное дыхание ребенка. Да, ему-то ведь не хотелось пить. Но найдется ли в ее груди молоко, когда ему захочется? Она так давно ничего не пила, целую вечность. Нельзя же считать двух-трех горсточек снега, которые ей удалось схватить губами на глазах у немцев. Ах, как ей хотелось пить, как нечеловечески хочется пить! Болели губы, болел язык, горло, болезненная судорога сжимала гортань. Внутренности содрогались от мучительной икоты. Она задремала, и сразу же снова посыпался белый песок, белый, как летом над рекой, летучий, как пыль, сыпалась белая мука из-под жернова, весь мир был в облаках летучей белой муки, нечем было дышать, рот набит белой пылью, а тут надо идти по пыльной дороге, во что бы то ни стало идти, торопиться, она знала, что нельзя потерять ни одной минуты. Ноги вязнут в песке, беспощадно жжет солнце, горят хаты — оказывается, в селе пожар. Надо во что бы то ни стало вынести из пламени ребенка, между тем дует ветер, искры сыплются со всех сторон. У нее уже тлеет юбка, платок. И зачем было в такую жару надевать полушубок, платок? А теперь уже нет времени сбросить все это с себя, надо бежать, скорей бежать, пока пламя не охватило маленькую головку. Ах, да это ведь горит мост, высокое пламя поднимается вверх, с треском падают вниз балки... Видимо, она опоздала, не убежала вовремя, и вот теперь все валится на нее. В отчаянии она ищет ребенка — он выпал у нее из рук, его завалило бревнами, охватило огнем. Из лесу было видно, как вокруг горящего моста беспомощно суетятся немцы, размахивая руками и крича что-то.

От этого крика она и проснулась. Над ней, толкая ее сапогом, стоял немец. Она сразу пришла в себя. Немец жестами приказывал встать. С трудом, преодолевая слабость, она встала на колени, с трудом приподнялась, прижимая ребенка к груди. Солдат толкнул ее прикладом, подгоняя к воротам. Белый заснеженный мир, открывшийся ее гла-

зам, ослепил ее. Она послушно шла впереди солдата, шатаясь, как пьяная. Она понимала, что ее опять ведут на допрос.

Вернер с отвращением взглянул на нее. Она была страшна. Лицо, желтое нечеловеческой, отталкивающей желтизной. Из растрескавшихся губ вытекла струйка крови и засохла на подбородке. Под глазом расплывался огромный кровоподтек, черный, красный, лиловый. Казалось, один глаз сдвинулся вверх. Растрепанные, слипшиеся пряди волос висели по обе стороны осунувшегося лица. Опухшие босые ноги почернели.

Вернер забарабанил пальцами по столу и кивнул солдату, чтобы подал женщине стул. Она удивилась, но села тотчас, не дожидаясь разрешения и напряженно глядя в водянистые глаза под белесыми ресницами.

— Сын или дочка? — неожиданно спросил он, кивнув на ребенка.

— Сын, — ответила она сдавленным, охрипшим голосом. Он бросил какое-то приказание, и солдат принес кружку воды. Олене показалось, что она снова бредит. Она схватила кружку и жадно, стремительно, захлебнувшись холодной водой, шумно глотнула, чувствуя влагу на наболевших губах, на пересохшем языке, в горящем горле.

— Довольно, — сказал Вернер. И солдат выхватил у нее кружку.

Она взглянула ей вслед дикими, полными отчаяния глазами. Но воды уже не было, вода стояла на краю стола. Поверхность ее еще колебалась, она была тут же, близко, свежая, холодная вода в кружке. Губы болели еще сильнее. Но в горле она чувствовала освежающую влагу, от которой пить хотелось еще больше, чем раньше, если только возможно было больше хотеть пить.

— Значит, сын... — протянул капитан. И Олена напрягла все силы, чтобы слышать, понимать происходящее.

В этой комнате притаилось что-то страшное, здесь ее

подстерегала какая-то опасность, в которой она не отдавала себе отчета. И эта вода, несколько глотков которой ей позволили проглотить, и этот поданный ей стул, и человеческий вопрос капитана — все это внушало ей такой страх, что она задрожала. Быстрая мелкая дрожь пронизала все тело, дрожала каждая жилка, каждый мускул. Она напряженно смотрела в лицо капитана.

— Значит, сына родила... — еще раз сказал он. — Здорового, живого сына...

Она выжидала, что будет дальше.

— Ну, теперь, я думаю, ты станешь умнее. Теперь уж дело не только в тебе. Теперь ты можешь спасти или погубить сына. Так ведь? Спаси или погубить, — он сказал это протяжно, с подчеркиванием.

Она инстинктивно прижала ребенка к груди. Он пристально всматривался в нее, наблюдая каждое ее движение, каждое изменение в выражении лица.

— Вчера ночью тебе хотели передать хлеб. Кто это был? — спросил он мягко, словно не придавая своему вопросу никакого значения.

— Не знаю!

— Как же так, не знаешь?

— Не знаю, — повторила она, глядя ему прямо в глаза, и так убежденно, что он поверил. Она ведь действительно могла не знать.

— У кого из твоих соседей есть дети?

— Дети? — она даже удивилась. — У всех есть дети. Как же без детей?

Да, да. Дети были у всех, у всех, кроме нее. А теперь вот и у нее есть ребенок, сын, сыночек. Он спит у нее на руках, завернутый в материнскую рубашку, в немецкой комендатуре. Он и не знает, что такое немцы. Нет, он еще не знает.

— А как ты думаешь, кто мог передать хлеб? Кто мог послать мальчика, лет этак десяти-одиннадцати?

Она мысленно перебрала всех соседей. Конечно, не за

тем, чтобы ответить. Нет, ей хотелось самой для себя знать, кто пытался ей помочь в ее самый тяжкий час, кто кинулся под немецкие пули, чтобы накормить ее. Но у всех были дети, и у скольких были мальчики десяти-одиннадцати лет! Нет, ей и для самой себя не угадать.

— Не знаю. В деревне мальчиков много. В каждой хате дети...

Вернер нахмурился, поняв, что она действительно не знает.

— Ну, ладно... А скажи-ка, где сейчас может быть Кудрявый?

Олена похолодела. Опять начинается то же самое. Но она чувствовала под руками теплое тельце сына, и от этого маленького тельца в ее сердце вливались сила и бодрость. Теперь она уже не одна под перекрестным огнем немецких вопросов. Теперь с ней сынок, рожденный в муках на голом глиняном полу сарая, ее дитя, которого она ждала двадцать лет и, наконец, дождалась.

Он был с ней и тихонько спал, под ее руками мелко и часто билось маленькое сердце, словно сердце птицы. Круглое красное личико, едва заметные бровки, носик пуговкой, самый красивый, самый чудесный из всех, какие ей приходилось видеть. Она почувствовала безграничное спокойствие, полную уверенность, что теперь-то никто ничего сделать ей не может — сынок с нею.

— Где он теперь может быть? — повторил Вернер спокойно, предостерегающе.

Она отрицательно покачала головой.

— Не знаю я...

— Не знаешь... А где они были, когда ты вернулась в деревню?

— Не знаю... В лесу...

— В каком лесу?

Она пожала плечами.

— В лесу...

Этот ответ ничего не давал. Белая равнина, расстилаю-

щаяся вокруг села, всюду упиралась в леса. Леса простирались на восток и на запад, на север и на юг. Только эта часть района была их лишена, и благодаря этому его отряд так спокойно сидел в селе. Но остальные непрерывно подвергались всяческому неожиданностям, поэтому командование так настойчиво требовало хоть каких-нибудь сведений, которые помогли бы добраться до места, где укрылся с отрядом Кудрявый.

— Лесов здесь много... С какой стороны ты пришла в село?

— Не помню, не знаю... Снег везде, меня вывели на дорогу, только и всего...

— Так... Это на какую же дорогу?

— Не помню...

— Так скоро забыла? Ведь всего четыре дня, как ты пришла в село.

Она с удивлением вспомнила, что ведь и правда, этому всего шесть дней. О двух днях Вернер, значит, не знает. Шесть дней, а казалось, что с тех пор, как она потихоньку собралась и ушла из землянки в лес, прошла целая жизнь.

Вернер медленно сворачивал папиросу. Потом поднял глаза и взглянул на желтое, покрытое синяками лицо.

— Послушай, ты ведь мать...

Опять эти слова. Но теперь это вдвойне правда, теперь у нее на руках сынок, крошечное дитяtko, рожденное на полу сарая, завернутое в материнскую рубашку.

— У тебя есть сын.

Желтое лицо просияло улыбкой, всплывшей с самого дна души. Да, у нее есть сын, есть сын...

— Ты хочешь, чтобы он был жив и здоров, хочешь, чтобы он вырос?..

Да, да, ах, как она хотела, чтобы он был жив и здоров!.. Чтобы он рос... Он начнет подниматься, вставать на маленькие ножки. Будет семенить по избе, переползать через порог, хватать крохотными пальчиками ложку со стола. Он будет бегать за кошкой, за собакой, за телянком. Про-

берется в огород, выдернет себе морковку. Потом он станет больше, пойдет в школу, возьмет сумку с книжками, важный, торжественный. А потом? Нет, она не могла себе представить, что будет потом, не могла себе представить, что крохотное существо, которое она держит на руках, вырастет, женится, у него у самого будут дети...

— У тебя есть возможность спасти его. Есть возможность сохранить жизнь и себе, и своему ребенку. Я даю тебе эту возможность. Не будь дурой и используй ее.

Олена молчала. Она не совсем понимала, к чему клонит немец, но ее снова охватило беспокойство, по телу пробежала дрожь. Чего он хочет? Почему говорит так спокойно, тихо и убедительно, словно на самом деле понимает ее и хочет поговорить по-человечески?

— Тех мы все равно найдем. Днем раньше, днем позже, это не имеет значения. Подумай, ведь все в наших руках. Красная армия разбита, все кончено, к чему это глупое упрямство? Те сидят в лесу и ничего не знают. Они же окружены со всех сторон, у них нет выхода, нет спасения. Не сегодня — завтра они попадут в наши руки и будут наказаны. А тебе я готов простить совершенные вместе с ними преступления. Тебя уговорили, обманули. Ну и сына у тебя тогда еще не было... Мы забудем даже о том, что ты взорвала мост. Будешь спокойно жить в селе, воспитывать ребенка...

Она внимательно слушала, не свдвля с него глаз.

— Не думай, что я зверь какой-то или изверг. Что же поделаешь, служба!.. Я делаю то, что мне велит долг солдата, обязанности по отношению к родине... А тебя мне жаль. И твоего ребенка жаль. Себя не жалеешь, пожалей хоть сына. Ты дала ему жизнь, ты не имеешь права отнять ее у него.

— То есть как — отнимать? — спросила она машинально, словно думая о другом.

Вернер нетерпеливо постучал пальцем о стол.

— Ты же понимаешь, ты прекрасно понимаешь, что, отказываясь отвечать, приговариваешь к смерти своего ребенка. Подумай, подумай немного, я подожду. Подумай, а потом ответь. Будешь ты давать показания или нет? Но я думаю, что ты будешь благоразумна и ответишь. Тем все равно ничто не поможет, а ты спасешь себя и ребенка.

Он достал из ящика табак и бумагу и принялся медленно сворачивать новую папиросу. Олена смотрела на его пальцы, узловатые, поросшие рыжими волосами. Глаза бессмысленно следили за сыплющимися крошками табаку, за морщинками на белой бумаге. Блеснул огонек спички, пошел синий дымок, кольцами поднялся к потолку.

— Ну?

Она пожала плечами.

— Ты не будешь отвечать?

— Я ничего не знаю.

Он встал и, опершись руками о стол, наклонился к ней. Злоба искривила его лицо.

— А, ты так? Я с тобой, как с человеком, а ты... Подожди, я тебе покажу!.. Ганс!

В дверях показался солдат.

— Идите сюда.

Вошли двое с винтовками. Она узнала их: это были те самые, которые сторожили ее в сарае, те самые, которые со смехом смотрели, как она рожает.

— Подержите-ка ее. Байстрюка давайте сюда.

Солдат выхватил у нее из рук ребенка, прежде чем она поняла, что происходит. Она рванулась, но железные руки держали ее с обеих сторон. Олена не сводила безумевших глаз с ребенка. Солдат неловко взял его в руки, и она испугалась, что он уронит.

— Положи на стол!

Ребенок лежал теперь на столе между нею и немцем. Солдатские лапы тяжело впились в ее плечи, и она поняла, что ей не вырваться.

Ребенок лежал на столе, небольшой сверток с красным личиком, еле виднеющимся из-под покрывающего голову полотна рубашки. Вернер с отвращением смотрел на спокойно спящее крохотное существо. И вдруг маленькие веки дрогнули. Блеснули два малюсеньких озера, мутные, синие, как у едва прозревших щенят. Подбородочек задрожал. У Олены мучительно сжалось сердце — маленький заплакал жалким, беспомощным плачем новорожденного. Маленький ротик хватал воздух, лобик покраснел еще больше, брови выделились на нем светлыми, почти белыми линиями. Она рванулась к нему, но тяжелые руки еще крепче придавили ее к стулу.

— Я с тобой больше нянчиться не буду,— сказал охрипшим голосом Вернер. — Ну, будешь ты говорить?

Она смотрела не на него, а на ребенка. Он скулил, как щенок. Ах, взять бы его на руки, прижать к груди, укачать, успокоить, убаюкать...

— Ты слышишь, что тебе говорят? Будешь говорить? Последний раз спрашиваю!

Она оторвала глаза от ребенка и отчетливо прошептала:

— Ничего, ничего я не скажу...

Капитан рванул завязки сорочки. Маленький сыночек, голенький, с вздутым животиком, со стиснутыми кулачками, с поджатыми к животу ножками, лежал на столе и плакал. Вернер схватил ребенка, как щенка, за шиворот и двумя пальцами поднял вверх. В воздухе затрепыхались маленькие ножки, крохотные пальчики с прозрачным, розовыми, как цветочные лепестки, ногтями.

— Ну?

Он медленно-медленно поднимал револьвер.

Олена окаменела. Руки и ноги стали ледяными глыбами. Комната росла, увеличивалась, вытягивался и выра-

стал перед ней немец. Теперь за столом напротив нее стоял уже не тот, кто говорил с ней раньше, а какой-то небывалых размеров великан, достающий головой до туч. И в этой разлившейся огромной, необозримой пустоте, одинокий, крохотный, трепетал ее сынок, розовый, голенький, повисший между землей и небом. Натянутая кожа, видимо, душила его. Он перестал плакать и не издавал ни звука. Только ножки судорожно дергались да сжимались и разжимались, ловя воздух, маленькие кулачки.

— Ну? Покажи, кто ты — большевистская стерва или мать?

Олена очнулась. Капитан перестал колыхаться огромной горой между землей и небом. Комната снова приняла обычные размеры.

— Отвечай.

— Я мать, — ответила Олена, называя себя тем именем, которым ее называли в лесу, которым ее благодарили за заботы, за доброе слово, за сваренный обед и выстиранные рубашки.

— Значит, скажешь, где они?

Она не смотрела на своего мальчика. Она смотрела прямо в водянистые глаза, окаймленные белесыми ресницами.

— Ничего я не скажу, ничего, ничего не скажу...

Дуло револьвера приблизилось к маленькому личику. Она видела это не глядя.

— Это твой единственный ребенок, а? — спросил Вернер.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет...

Рука с револьвером застыла в воздухе.

— Как? У тебя есть еще дети? Сыновья? Дочери? Где? Здесь, в селе?

Сияющая улыбка вдруг занграла на опухших, растрескавшихся, пересохших губах.

— Сыновья... Одни сыновья... Много, много сыновей... Там, в лесу... Кудрявый... все там, в лесу...

Грянул выстрел. Прямо в маленькое личико. Запахло порохом и дымом. Солдаты, державшие Олену, вздрогнули.

Капитан встряхнул мертвое тельце.

— Вот, мать...

Маленькие ножки безжизненно повисли, повисли крепко-крепко стиснутые кулачки. Личика не было — вместо него зияла кровавая рана.

— Вот что ты сделала со своим ребенком, — сказал Вернер. Она покачала головой. В этот миг она была далеко-далеко отсюда, в лесу. Что они теперь делают в лесу? Сидят у костра или лесными тропинками подкрадываются к немецким отрядам? Окружают дом, где помещается немецкий штаб? Или отступают в лес, унося своих раненых? Солдаты с суевренным страхом смотрели на нее.

Капитан заметил, что из тела ребенка каплет на пол кровь. Он вздрогнул от отвращения.

— Вынести это!

Солдат заколебался.

— Ты еще что? — зловеще зашипел капитан, и часовой торопливо схватил тельце.

— Ну, последний раз спрашиваю, будешь говорить или нет?

Олена не отвечала, даже не слышала. Она смотрела в окно на мечущуюся по полю вьюгу.

— Если ты не ответишь, сейчас покончат и с тобой.

Она не слышала, не отвечала. Ведь все, все было кончено. Не было больше сыночка, не было маленького мальчика, которого она ждала двадцать лет. Сердце утихло, в нем была мертвая пустота, без страха, без тревоги, без дрожи.

Олена пустыми глазами взглянула на капитана. Равнодушно, словно на неодушевленный предмет, словно на кусок дерева или камень.

— Увести ее и прикончить! — распорядился капитан. — Только не возле дома, хватит здесь этой падали. Лучше всего в реку!

Она послушно шла, куда ее подталкивали приклады. Да, это было село, где она родилась, где выросла, где вышла замуж и напрасно ждала ребенка, который появился, наконец, чтобы побыть с ней несколько часов, и вот его уже нет. Она сама, сама отдала его на смерть, сама своими глазами смотрела, как наклоняется, приближается дуло револьвера, и не сказала слова, которое могло отстранить это дуло, оттолкнуть его от маленького личика. Нет, она не сказала этого слова.

— Не могла я, сынок, — шептала она, словно мертвое дитя могло ее услышать. Она взглянула — солдат нес трупик с отвращением, неловко, головка свисала вниз. Олена протянула руки. Конвоир на мгновение заколебался, но нести мертвого ребенка было так неприятно, что он решил на свою ответственность отдать его матери. Она прижала мертвое тельце к груди. Оно было еще теплое, ручки и ножки еще не окоченели. Если бы не это страшное, что осталось вместо лица, можно было бы подумать, что ребенок спит.

Олена шла между конвоирами, не думая о том, куда ее ведут. Выкрикнутого по-немецки приказа она не понимала. Знала, что теперь наверняка конец, но это ее не мучило. Все для нее кончилось со смертью сыночка.

Дул ветер, неслась снежная пыль. Олена взглянула на замерзшие окна хат. Нигде не видно ни души. Одинокая, шла она своей последней дорогой, дорогой к смерти. Ни одна дверь не открылась, никто не выглянул, нигде не показался ни один человек. Хаты словно вымерли. Кое-где суетились немцы, но они не обращали на арестованную никакого внимания.

Удар приклада толкнул ее с дороги на тропинку. Слегка удивленная, она пошла, куда ее толкнули. Она думала, ее ведут на площадь к церкви, где вешали людей, уличен-

ных в преступлениях против немецкой власти. Но тропинка, минуя хаты, спускалась вниз и углублялась в овраг. Ветра здесь почти не было, он дул поверху, в овраге было тише. Олена шла по обледеневшей тропинке, словно по битому стеклу. Босые ноги за эти четыре дня покрылись сплошными ранами, нарывами, обратились в кровавое мясо с висящими лоскутьями кожи. По этой тропинке женщины носили воду, и вся она была покрыта ледяной корой. Израненные ноги скользили по льду, мелкие льдинки впивались в опухшее тело. Олена споткнулась и с этого момента стала спотыкаться уже на каждом шагу. Невыносимая боль разрывала низ живота. Она почувствовала, как теплые струйки крови стекали по ногам.

Внизу извивалась речка. Ее сковало льдом, засыпало снегом, замело выюгой, и от нее не осталось бы и следа, если бы не прорубь, откуда носили воду в этот конец села. Олена издали увидела темное пятно ежедневно возобновляемой проруби. Она не понимала, куда ее ведут. Дальше, в овраге, лежат убитые, которых немцы не позволяют похоронить. Неужели ее хотят расстрелять там? Ее, простую деревенскую бабу, рядом с красноармейцами, с теми, что погибли в бою?

— Эй, куда лезешь?

Слова были непонятны, но удар прикладом она поняла и послушно свернула вниз. Солдаты, один впереди нее, другой позади, направлялись прямо к черной дыре проруби.

— Давай щенка! — заорал один и протянул руку к ребенку. Она испуганно прижала мертвое тельце к груди, словно они еще могли ему что-то сделать, словно ему могло еще что-то угрожать.

— Давай! — грозно повторил конвоир и рванул ее за руку. Маленькое тельце полетело на снег. Олена упала на колени около него. За дорогу уже посинели пальчики рук, посинели маленькие ноги, исчез розовый оттенок кожи.

Кровь на том, что еще час назад было личиком, почернела и застыла темными сгустками.

Прежде чем она успела поднять трупик, солдат поддел его штыком и подбросил вверх. Ребенок упал у самой проруби. Подбежал другой, снова поддел крошку на штык и снова подбросил. На этот раз метко — вода хлюпнула, на темной поверхности проруби закипели пузырьки, и течение унесло трупик под лед.

Олена замерла на коленях. Теперь она узнала свой сон. Узнала место, темную дыру проруби. По срезу лед был зеленоватый, темная вода переливалась, двигалась, как живая. Она клокотала, вырываясь на небольшое свободное пространство проруби, и снова исчезала подо льдом, уносясь в свой дальний путь, в дальние края. На берегах, на льду замерзшей речки толстым слоем лежал снег. С одного края проруби, там, где упало тельце ребенка, осталось красное, отчетливо, как печать, оттиснутое пятно.

Олена помертвевшими глазами смотрела в тихо всплескивающую темную воду. Вот и забрала вода маленькое тельце, вот и нет больше сыночка. И единственный знак, единственный след того, что он существовал, — это кровавое пятно на снегу, печать, оттиснутая на белой пелене. Теперь вода несет его подо льдом, несет своими неведомыми, дальними путями. Несет подо льдом, сталкивает вниз, бьет о камни, выталкивает на поверхность, ранит об лед! Нет, нет, Олена знала, знала твердо, как если бы своими глазами видела сквозь снег и лед, — родная река несет маленькое тело бережно, ласково. Охраняет, как мать, окутывает мягкой, нежной волной. Смывает с него кровь, пороховые ожоги, прикосновения немецких лап. Своя, родная река, чистая вода родной земли. Вода приняла, открыла объятия маленькому, что не прожил и одного дня. Родная вода родной земли.

Солдаты совещались между собой, о чем-то переговаривались, осматривали прорубь, что-то отмеривали. Олена

не шевельнулась. Глаза ее прильнули к мелкой волне, вырывающейся из-под льда и исчезающей под льдом... Теперь уж он хорошо спрятан, теперь его никто не найдет. Лед простирался толстым пластом, сверху его еще прикрывала снежная перина. Далеко, насколько глаз хватал, лежал глубокий-глубокий снег, и вода неслась невидимым путем, подснежным, подледным, хорошо укрытая от немецких глаз. «Куда она несется?» — озабоченно подумала Олена и вспомнила, что на восток. На сердце стало радостно: сыночек поплывет к своим, сыночек поплывет к свободной земле без немецких оков. Может, и всплывет где-нибудь, может, и там есть проруби, наверняка есть проруби. Люди увидят, догадаются, что случилось. Посмотрят на разможенную пулей головку и поймут. Похоронят, как полагается, похоронят маленького, похоронят в родной земле. А может, нигде не всплывет, и только весной, когда растает лед и речка разольется по лугам буйной водой, люди найдут маленькое тело?

Конвоиры о чем-то спорили между собой; они отошли на несколько шагов, снова отмеряли что-то. Один ударил прикладом в край проруби, отколол большой кусок льда. На снегу обрисовалась длинная темная трещина. Лед соскользнул в воду, закачался на ней, зеленый край проруби стал блестеть теперь немного дальше.

На тропинке послышался скрип шагов. Солдаты обернулись. Сверху спускался капитан Курт Вернер. Они вытянулись. Олена даже не повернула головы. Она все стояла на коленях, как зачарованная, глядя на воду, на поблескивание мелкой волны.

Капитан толкнул ее ногой. Она подняла к нему лицо, невидящие глаза.

— Эй ты! Сейчас ты сдохнешь, понимаешь? Говори, где партизаны?

Он трясся от глухого бешенства. Едва он отправил Олену с солдатами, как ему позвонили из штаба. Во что бы то ни стало, любой ценой добыть какие-нибудь сведения

о местопребывании партизан. У штаба имеются данные, что большинство отряда составляют жители того села, где стоит отряд Вернера. От него категорически требовали, чтобы он дал необходимые сведения. А эта проклятая баба, которой стоило сказать несколько слов, чтобы требование штаба было выполнено, молчала, молчала, как заколдованная. Капитан был вне себя оттого, что, сказав последнее слово, отдав приказ, он принужден был опять идти сюда; к реке, тащиться в эту выюгу по морозу и снова спрашивать, снова смотреть на это нечеловеческое, желтое и синее, опухшее лицо. Доведенный до отчаяния, он готов был просить, умолять эту упрямую, озлобленную бабу. Но он знал, что и это не поможет. Легко им там в штабе говорить «категорически требуем!» Легко было категорически требовать! «Всеми средствами». Уж он, кажется, пустил в ход все средства, уж сама судьба, кажется, послала ему самое лучшее средство — новорожденного ребенка! И ничего не помогло...

— Где щенок? — обратился он к солдатам.

— Мы бросили его в прорубь, — ответил со страхом младший. Что могло случиться, почему капитан сам пришел сюда, почему он спрашивает о ребенке, которого четверть часа назад сам велел убрать? Солдат испугался. А может, что не так, может, они не так поняли приказание?

Но Вернер махнул рукой.

— Слушай, ты! Где партизаны?

Олена не ответила. Так же внимательно, как прежде на воду, она смотрела теперь на лицо капитана. Она видела все до мельчайших подробностей. Светлые брови, один волосок длиннее других и сменно торчит на лбу. В углу губ прилип обрывок папиросной бумаги, маленькое белое пятнышко. На щеках сеть красноватых жилок, глаза моргают белесыми ресницами. Одно ухо капитан отморозил — оно опухло и стало больше другого.

— Чего смотришь? Я тебя спрашиваю, где партизаны?

Он понял, что вопрос не дошел до нее, что она не слышит, что ему ничего не добиться. Капитана охватила дикая ненависть. Он пожалел, что не может еще раз получить в свои руки ее ребенка, — слишком быстро и просто он с ним покончил. Надо было на ее глазах сдирать с него кожу, отрезать ему уши, выколоть глаза. Может, тогда она дрогнула бы, наконец, может, это убедило бы ее. А он вот поторопился, и завтра опять будут звонить из штаба, ведь он — какое легкомыслие! — дал туда знать, что поймана партизанка. Конечно, там никто не поймет, что из бабы невозможно ничего выжать. А милые приятели с удовольствием подставят ему ножку, с превеликим удовольствием постараются довести до сведения начальства, что капитан Курт не умеет обращаться с арестованными, не умеет добиться показаний, что он, видно, слишком мягок, слишком либерален по отношению к местному разбойничьему населению...

Он закурил губу и нервным движением вырвал из рук солдата винтовку так неожиданно, что тот в испуге отскочил. Олена уже не смотрела на капитана. Ее глаза снова устремились на воду, на ее поблескивание, на непрестанную текучую жизнь.

Вернер отступил на шаг и изо всех сил воткнул штык в спину стоявшей на коленях женщины. Она упала лицом на край проруби. Задетый при падении снег узкой тонкой струйкой посыпался в прорубь. Как мука из отверстия жернова. Олена смотрела, почти касаясь лицом темной поверхности. Снег, упав в воду, позеленел, сбился в комок, заплескал на поверхности проруби.

Капитан с усилием вытащил штык и воткнул еще раз. Женщина вздрогнула и расстелилась, вытянулась на покрытом снегом льду. Пряди растрепанных волос свисли вниз, коснулись воды. Вода подхватила их, залила волной, и они заплескали в ней, как живые.

— В воду ее! — скомандовал капитан.

Солдаты подскочили и стали прикладами сталкивать тело. Прорубь была мала, голова упала в воду, но руки торчали по сторонам, словно сопротивляясь.

— Вы что, с одной бабой справиться не можете? — заорал капитан вне себя от бешенства.

Солдаты торопливо бросились к мертвой. Они выламывали ей руки, силком закидывали ее под лед, в воду. Она погружилась по грудь, потом по живот. Теперь они стали выламывать ее сапогами, прикладами, торопясь под взглядом капитана. Наконец вода хлопнула от падения тела. Теперь из проруби торчали только синие, опухшие ноги, уже совсем непохожие на человеческие. Они были прикладами по этим ужасным, изуродованным культяпкам. Наконец вода еще раз хлопнула, застонала, вздулась. Тело исчезло. Журчащая мелкая волна вырывалась из-под льда и снова исчезала под льдом, убегая в дальний путь, в дальние-дальние края.

Капитан выругался и пошел обратно, скользя по обледеневшей тропинке. Солдаты покорно шли за ним, стараясь незаметно для него опираться на винтовки.

Внизу, в проруби, журчала темная вода, отливая зеленым, поблескивали края проруби. На истоптанном снегу были далеко видны следы солдатских сапог. И только с одного края на белом снегу остался красный след — там, куда первый раз упало тело ребенка. На белой поверхности осталось красное пятно, яркое, отчетливое; казалось, оно никогда не исчезнет, останется здесь навсегда, до весенних солнечных дней, когда растопится лед, потеет ручьями снег и свободная река понесет свои буйные воды по далеким равнинам, в далекое необъятное море, родное море родной земли.

VI

Пуся мылась. Федосья Кравчук в мрачном молчании носила воду, подливала кипяток из горшка. А та, сидя в ко-

рыте, мылила худенькие плечи. Она не стыдилась своего немца, который тут же на лавке курил папиросу за папиросой. Будто нельзя помыться в кухне. Куда там! Такая барыня — и в кухне! Нет, ей надо показать своему немцу свои тощие бока, обязательно надо забрызгать весь пол, чтобы было что подтирать да прибирать.

Пуся нежилась в теплой воде, но поминутно искоса поглядывала на Курта. Весь вечер он был мрачен и молчал.

— Курт...

Он очнулся от задумчивости.

— Что?

— Ты все молчишь, не обращаешь на меня внимания, будто меня и на свете нет...

— Я устал, — ответил он сухо.

— Я весь день ждала, а ты даже не зашел.

Она выжимала воду из губки и смотрела, как белые струйки мыльной воды стекают по ее грудям.

— Как раз было у меня сегодня время заходить, — буркнул он, не переставая думать о звонке из штаба. Придется утром сообщить, что от этой бабы не удалось ничего добиться. Майор взбесится. Интересно, чего бы он сам добился? Ему всегда и все кажется легко и просто... Хуже всего то, что Вернер в ближайшее время ожидал повышения, а эта дурацкая история с партизанами может все испортить. И партизаны-то ведь допекают не его, а их, ну и искали бы сами следов, добирались бы до их тайников... Так нет, они там сообразили, что легче спихнуть все на Курта, переложить на него ответственность. Он проклинал собственное легкомыслие. Зачем было уведомлять их о поимке этой Костюк, когда он еще сам не знал, удастся ли от нее чего-нибудь добиться?

Он что-то обдумывал. Целагея почувствовала на себе его взгляд.

— Что ты?

Он неторопливо курил.

— Послушай, — начал он, видимо, колеблясь.
Пуся ждала, высоко подняв вышпианные брови.

— Не поговоришь ли ты со своей сестрой, а?

Она резко повернулась, так, что вода выплеснулась на пол. В этот момент вошла Федосья с ведром.

— А вы тут не вертитесь, — прикрикнул он сердито.

Женщина пожала плечами. Он встал и тщательно запер за ней дверь.

— Поговорить с сестрой?

— Ну да, ты же слышишь! — рассердился он.

— Зачем мне с ней говорить? — она широко раскрыла круглые глаза, своим обычным движением больной обезьянки склоняя набок голову.

— Ты должна мне помочь. Ну да, помочь. Что тут непонятного? Ты должна поговорить с этой учительницей. Она, видишь ли, знает много нужных мне вещей.

Пуся машинально мочила и выжимала губку.

— Она же мне ничего не скажет...

— Это уж твое дело как поговорить, чтобы сказала... Объясни ей, что эти игрушки кончатся плохо: я пока смотрю сквозь пальцы, но когда у меня лопнет терпение...

— Какие игрушки?

— Ну и дура! — вспылил он.

Она обиделась и, надув губы, принялась старательно намылывать ноги.

— Растолкуй ей, что для нее лучше будет, если она начнет работать с нами. Ведь она не так глупа, не надеется же она, что они еще сюда вернутся, а?

Пуся не ответила, и он только теперь заметил ее обиженное лицо.

— Ты чего собственно куксишься?

— Я же дура, что я ей могу растолковать?

— Обиделась? Послушай, я в самом деле устал. У меня был очень тяжелый день. Не капризничай, это же глупо. Ну как, поговоришь с ней?

— Она не захочет со мной говорить.

— Почему?

Она взглянула на него и пожала плечами.

— Разве ты сам не видишь, что тут со мной никто не разговаривает? Будто прокаженная. Но тебе все равно, ты целыми днями оставляешь меня одну...

— Ты опять свое... Оставь это, я говорю с тобой серьезно.

Пусю испугала морщинка на его лбу.

— Ну хорошо, но о чем же мне с ней говорить?

Он оглянулся на дверь.

— У нас, понимаешь, есть данные, что она связана с партизанами. Нужно, чтобы она сказала, где они скрываются, понимаешь?

— Она не скажет.

— Зачем же заранее предрешать вопрос? Если умненько возьмешься за дело, скажет.

Вода уже остыла. Пуся вытиралась медленно, старательно. Потом протянула руку и взяла со стула ночную сорочку. С наслаждением ощутила мягкость шелка. Сорочка была голубая, с ручной вышивкой. Вернер привез ее из Франции, не успел передать по дороге жене, и теперь ее носила Пуся. Шелк ложился мягкими складками, она ощущала его прикосновение, как ласку. Купанье утомило ее, ей хотелось спать.

— А ты почему не раздеваешься? — спросила она капризно.

— Как раз время мне спать... Видишь ли, о партизанах надо непременно узнать...

Пуся присела на скамейку возле него и прижалась щекой к его мундиру.

— Курт...

Он нетерпеливо отодвинулся.

— С тобой вообще невозможно серьезно разговаривать.

— Ночью не разговаривают, — сказала она, надув губы и заложив за ухо волосы. Но, заметив, что он начинает сердиться, поспешно поправилась: — Ну, хорошо, а откуда ты знаешь, что ей что-то известно?

— Знаю, не беспокойся. Этим ты лучше не интересуйся. А ей можешь намекнуть, что я все знаю и что, если она не расскажет, я прикажу ее арестовать.

— О-о-о!

— А ты что думаешь, если она твоя сестра, значит, может вести здесь против нас работу, а мы будем спокойно смотреть на это?

Пуся пожала плечами.

— А мне вообще безразлично. Арестуй, если хочешь. Мне-то что? Поговорить я, конечно, могу. Только она меня на порог не пустит, вот увидишь.

— Во всяком случае попытайся.

— Попытаюсь, — сказала она примирительно, думая, что во всяком случае это будет завтра, а сейчас незачем ссориться с Куртом.

— Ложись спать...

Он встал и споткнулся о полное корыто.

— Где эта баба? А ты, право, могла бы помыться в кухне.

— В кухне? У нее? — Пуся даже вздрогнула от отвращения.

Вернер махнул рукой. Федосья, сжав губы, уносила ведра, рывком отодвигала корыто, вытирала залитый водой пол. Пуся, уже лежа в постели, с удовлетворением смотрела на нее. Сказать разве сейчас о Васе? Нет, пусть эта старуха еще помучится, пусть подождет, случай всегда найдется...

* * *

Федосья слила грязную воду в ведра и пошла выливать ее. Ветер ударил ей в лицо, часовой оглянулся, но, увидев

в ее руках ведра, ничего не сказал. Она обошла дом и свернула за хлев, к навозной куче. Вода хлюпнула, и в ту же секунду она услышала проникновенный шопот:

— Мамаша!..

Она покачнулась и уронила ведро. От снега ночь была светлой, и за хлевом, на фоне белого сугроба, она увидела какую-то тень. Знакомая шапка. У Федосьи перехватило дыхание.

— Кто тут? — шепнула она, хотя уже узнала. Со стоном опустилась она на колени, протянула руки, ощупала грубое сукно шинели, ремень пояса. Ясно увидела на сером меху шапки пятиконечную звезду. Рыдания сдавили ей горло. Красноармеец испугался.

— Что с тобой, что ты?

— Это вы... это вы... это вы... — шептала она захлебывающимся, безумным шопотом. Казалось, что она бредит, что ей снится сон, сердце колотилось от счастья.

— Это вы, вы...

Он нагнулся к ней и потряс ее за плечо. В слабом отсвете снега он увидел залитое слезами, сияющее улыбкой лицо.

— Что с тобой?

— Ничего, ничего... — Федосья изо всех сил старалась сдержать волнение. И вдруг вспомнила о часовом. Она схватила красноармейца за рукав.

— У меня в хате немцы! В селе немцы!

— Я знаю. Мне бы поговорить с тобой, мать. Ты здешняя?

— А как же — здешняя, здешняя...

— Надо узнать у тебя, что и как..

— Слушай-ка, сынок, там у хаты часовой, если меня долго не будет, он потащится искать. Ты подожди здесь, я побегу домой, у меня там есть лазейка, я сейчас же прибегу, а ты пройди дальше, в сарайчике за хлевом — со лома, не так дует, как здесь.

Он пристально взглянул на нее с внезапно проснувшимся подозрением. Она поняла.

— Что ты, сынок? Я ведь здешняя, из колхоза... У меня там, в овраге, сын лежит, красноармеец... Месяц лежит, не дают похоронить, собаки... Обобрали догола...

Не столько ее слова, сколько чувство, звучавшее в ее голосе, было так убедительно, что парню стало стыдно.

— Сама знаешь, мать, разное бывает...

— Так ты иди, а я сейчас...

Дрожжкими руками она схватила ведра и направилась к хате. Мимо часового она прошла, с трудом подавляя нервный смех. Ходи, ходи, притопывай ногами! А наши уже в селе! Вон там за хлебом стоит красноармеец, а ты, ничего не зная, караулишь офицерскую любовницу, офицерскую постель... Карауль, карауль, скоро конец тебе...

Она тщательно заперла дверь в сени, передвинула скамью в кухне, делая вид, что собирается спать. Из горницы доносился храп немца. Федосья тихонько выскользнула в сени. На чердаке в одном месте вынималась доска. Она пролезла в отверстие и стала осторожно спускаться по углу избы. Длинная юбка мешала ей, она подумала, как смешно — старая баба карабкается, как кот, и про себя засмеялась. Ветер шелестел в соломенной крыше, и часовой по ту сторону хаты не мог ничего услышать. Она спустилась и с колотящимся сердцем секунду-другую прислушивалась. Нет, ему и в голову не могло притти, что здесь что-то происходит. Ведь здесь позади была глухая стена, и он топтался под окнами, с улицы. А как раз отсюда-то и можно войти в хату, — осенила ее вдруг счастливая мысль.

Кошачьими шагами она прокралась за хлев и похолодела — там никого не было. Сарайчик был пуст. Неужели все было только сонным видением, бредом, порожденным тоской и страданием? Нет, этого не может, не может быть...

— Где ты? — спросила она осторожным шопотом.

Солома в сарайчике зашевелилась. Федосья просияла. Ну, конечно, он здесь. И не один. Их было трое, трое, — радовалась она, заметив еще две фигуры. Они присели на корточки у входа в сарайчик. Федосья подсела к ним.

— Уж мы ждем, ждем! Уж мы днями и ночами вас выглядываем! — причитала она шопотом, поглаживая рукав шинели. — Ох, дождалась я, дождалась...

— Ну, будет, будет, мать, надо поговорить...

— Что ж, поговорить, так поговорить... А вы есть не хотите? — спохватилась она.

Красноармейцы рассмеялись.

— Нет, неохота... Мы сюда не едем, пришли.

— Тогда спрашивайте.

— Ты из этого села?

— Как же, из этого, откуда же еще? — удивилась Федосья. — Из этого. Здесь родилась, здесь и жила.

— Нам узнать бы, как и что... Где немцы расположились? Где у них что есть?

Она умоляюще сложила руки:

— Пойдут наши на село?

— Пойдут, пойдут... Только надо сначала все разузнать...

— Сейчас... — она уперлась руками в колени. — Село у нас большое, триста дворов. Здесь две дороги, крест-накрест. На перекрестке площадь, там церковь была раньше, сейчас одни развалины.

— Погоди-ка, мать.

Они вынули карту и наклонились над ней, прикрыв шинелями. Блеснул свет электрического фонарика.

— Так... Верно, перекресток, середине площадь...

— На площади, у церкви, они поставили пушки.

— Пушек много?

Федосья задумалась:

— Пойдите... Одна, две... три... четыре... Ну да, четыре! Сколо церкви направо большой дом. Раньше был сельсовет, теперь там у них штаб... И тюрьма, сейчас пять заключенных сидят.

— Где еще немцы?

— Ближе к площади, так там, можно сказать, во всех домах. Тут, с краю, где моя хата, их меньше, но тоже есть. Пушки у них еще под липами, как итти из села, но там другие, поменьше...

— Зенитки, может?

— Может, и зенитки, кто их знает... Вверх задраны, тоненькие такие...

— Так, так. Пулеметов не видела?

— Как же, есть пулеметы... Все с того краю, отсюда итти прямо, а потом налево. Там в домах, в стенах прорубили дыры, и в каждой дыре пулемет.

Красноармеец, согнувшись над картой, наносил на нее карандашом крестики и кружочки.

— Из этих домов людей они повыгоняли, а сами хозяйничают. Погодите, сколько же это будет? Одна, три, в пяти хатах... И еще в одной, как отсюда на площадь итти...

— Немцев много?

— Не сообразишь... Уходят, приходят, только этот капитан как сидел, так и сидит... Говорят, человек двести есть...

— Часовых много?

— Э, таскаются ихние, вон как и перед моей хатой. Какое уж там, — по ночам боятся, далеко не отходят, и все по-двое. Днем-то они смелее, а уж ночью боятся, хоть и есть приказ, чтобы, как стемнеет, никто из жителей не смел из дому выходить. Как увидят, не спрашивают — кто, сразу стреляют...

— Мостикн какне есть по дороге?

— Мостики? Не-ет... Дорога как дорога...

— Лесочков нет?

— Лесов у нас нет. Только и деревьев, что в садах, да и те мерзавцы эти почти все на топливо порубили. Тепло любят. За площадью у дороги есть еще несколько лип. А лесу нигде нет, и далеко вокруг все равнина голая. В овраге кусты растут, а больше ничего. С дровами у нас беда, кизяком топим.

Она беспокойно оглянулась.

— Что там?

— Ну-ка я выгляну, не угораздило ли там часового зайти во двор. — Она тихо вышла и прислушалась.

Ветер уныло стонал, бился в овраге, шуршал соломой на крыше. Когда он на минуту затихал, слышались тяжелые, мерные шаги часового за домом, скрип снега под его сапогами. Федосья вернулась.

— Ничего, все ходит...

Красноармейцы складывали карту.

— Ну, надо собираться, спасибо, мать.

— Что ж меня благодарить? Мой Вася тоже в Красной Армии. Здесь под селом его и убили...

Фонарь погас.

— Когда же вас ждать?

— Там видно будет... Как решит командир, как удастся...

— Чего же не удастся! Только вы поторопитесь, пора... целый месяц дожидаемся, все глаза проглядели...

— Не так-то это легко, мать...

— Знаю, что нелегко, да ведь и нам нелегко... Вы уж постарайтесь, ребята, возьмитесь как следует...

Вдруг она что-то вспомнила.

— Стойте! Есть еще одно дело...

— Что такое?

— У меня в хате их главный, командир вроде... И никого нет, только часовой перед домом. Он там спит, как уби-

дай, со своей девкой. Часового можно убить, а нет, я вас потихоньку впушу в хату через крышу. Вы его и накроете, как куропатку.

У младшего из красноармейцев даже глаза сверкнули.

— Ну-ка, ребята...

— А ты погоди. Надо сообразить.

— Что тут соображать? Вытащить его, прохвоста, за реверот, только и делов!

— Как раз... Наглупить легче всего! Пу, ты прикончишь его, а дальше? Наутро подымется шум, дадут знать в штаб, и их сюда столько привалит, что и не справишься...

— А ведь и верно...

— Хорошая вышла бы разведка! Сейчас-то они сидят себе спокойно, как у Христа за пазухой, сам видишь, капитана один часовой караулит. А напугаешь их, все и испортишь.

— Эх, хотелось бы приволочь фрица...

— Подожди, в другой раз. А теперь тихонечко домой!

— Да где же это у вас дом? — заинтересовалась Федосья.

— Это у нас так говорится, мать. Дома наши далеко, а на войне дом — это своя часть. Ты вот расскажи, как лучше пройти. Сюда-то мы шли, чуть не потонули в снегу...

— Я вам покажу, тут прямо в овраг и вдоль речки, вдоль речки. Только там наши лежат непохороненные, так вы поосторожней... А там вас речка на равнину выведет, там села Охабы и Зеленцы, только там тоже немцы.

— Это-то мы знаем. Главное, тут на кого-нибудь не наткнуться.

— А вы идите спокойно, тут только у моей хаты часовой, а больше никого нет. Потихоньку идите, как ветер стихнет, останавливайтесь, а то снег заскрипит, фриц услышит.

Три пригнувшиеся тени следовали за ней, тотчас останавливаясь, когда останавливалась она.

— Вот и овражек, тут прямо и спускайтесь, только по-логоньку, а то скользко.

— До свиданья, мать. Спасибо за все. Хороший ты человек.

— Будьте здоровы, ребятки. Только поторапливайтесь, поторапливайтесь...

— Уж постараемся! А ты иди-ка домой, холодно!

— Ничего, я привыкла.

Федосья стояла на краю оврага и смотрела вниз. Они быстро двигались по тропинке, их силуэты в белых плащах все труднее было различать на снегу. Наконец они совсем растаяли во мраке, исчезли в ночной тьме, в снежной выюге, несущейся над землей. Пропали, словно их никогда и не было. Федосья шла домой медленно, шаг за шагом. Ей казалось, что она на минуту вырвалась из тюрьмы, минуту свободно подышала полной грудью, а теперь добровольно возвращается на цепь. С ненавистью она глядела на темные очертания своей хаты, где спал немец с любовницей, куда приходится идти, чтобы слушать его ненавистный храп.

Да, он все еще храпел, посвистывал носом, что-то бормотала сквозь сон его девка. Федосья усмехнулась с мстительной радостью: скоро вам конец. Вот придут красноармейцы, зайдут прямо в горницу и стащат тебя с перины.

Услышит она, Федосья, когда они будут подкрадываться, или ее разбудит только их появление в хате? Но нет, она твердо знала, что не уснет, что не будет теперь спать до самого их появления, до освобождения села.

Снег поскрипывал под сапогами часового, посвистывал носом Вернер. Все было так же, как вечера, как позавчера. И все же было совсем иначе. Первый раз за весь месяц, первый раз с того момента, как погиб Вася, она чувствовала радость в сердце. Эта радость пылала, светила, грела, вздымалась высоким пламенем. Федосья зажимала

руками рот, чтоб не закричать на весь мир от огромного счастья. И знала об этом одна она — больше никто, больше никто во всем селе. Она одна знала, что теперь уж можно ждать не так, как раньше ждали, — с непоколебимой верой, но без определенного срока. Теперь она могла высчитывать, когда это случится. Сегодня, завтра, послезавтра? Сколько надо идти тем троим, чтобы привести свою часть? И сколько времени нужно их части, чтобы добраться до села? День, два, три? Она знала, чувствовала, что это не может продлиться больше трех дней. Не может случиться такая жестокая, глупая вещь, чтобы пятеро сидящих в комендатуре заложников погибли.

Вернер назначил трехдневный срок. И Федосье вдруг показалось, что этот срок относится не к заложникам. Это три дня, в течение которых черная бездна раскроется перед немцами. Немцы взглянут в неумолимые лица красноармейцев, взглянут в глаза неизбежной смерти.

В селе триста хат, и в каждой хате, кроме тех, откуда немцы выгнали обитателей на снег, в каждой хате люди мучились, ждали, плакали, утешая себя непоколебимой надеждой, волшебными словами, которые придавали силы: наши придут. И только она, одна-единственная во всем селе, знала наверняка не только то, что они придут, — в этом она никогда не сомневалась, — нет, она знала, что они уже идут. Что немецкой банде уже подписан неумолимый приговор. Олена не дождалась, но те пятеро в комендатуре дождутся. Не может быть, чтоб не дождались.

* * *

Староста в эту ночь поздно засиделся в комендатуре. Он кропотливо подсчитывал по колхозным книгам, кто сколько хлеба должен сдать. Ему помогал фельдфебель, бухгалтер по профессии. Гаплик потел, ежеминутно оши-

баясь в подсчетах. Коптила лампа. Солдаты сонными глазами смотрели на сидевшую за столом пару. Староста вычитал, складывал, множил, поминутно ошибаясь и вызывая этим сердитые замечания фельдфебеля.

Староста старался сосредоточиться, но это ему не удалось. Он не мог отделаться от мысли, что все эти цифры и подсчеты могут оказаться ненужными. Скорее всего, оно так и будет. На бумажке написать легко, и прочитать легко, даже вручить каждому точный подсчет того, что с него следует немецкому государству, даже это сравнительно легко. Но ведь этого мало — бумажки не удовлетворяют ни капитана, ни штаб, требующий поставок. Кроме бумажек, нужен хлеб, а Гаплик очень сомневался, пожелает ли кто-нибудь доставлять хлеб немцам. А отвечать, в конце концов, придется ему, Гаплику. Капитан угрожал очень убедительно, и староста знал, что немец в любой момент может привести свои угрозы в исполнение.

Выдумка Гаплика с заложниками тоже пока не дала никаких результатов. Люди сидели под замком, а в комендантуру что-то никто не являлся, никто не приходил сообщить что-либо о маленьком преступнике. За это тоже придется отвечать ему. Капитан должен найти виновника, ему нужен виновник, чтобы доказать штабу свою исполнимость. И виновником, конечно, окажется староста.

— Что вы там записываете? — прикрикнул фельдфебель. — Опять весь столбец перепутали, опять начинай сначала. О чем вы, собственно, думаете?

Гаплик подобострастно улыбнулся. О чем он думает? Нет, этого фельдфебелю нельзя сказать. Он еще ниже склонился к бумаге, еще усерднее заскрипел пером.

Наконец подсчеты были закончены. За окном стояла черная ночь. Пронзительно выл ветер. Староста медленно застегивал полушубок.

— Проводил бы меня кто до дому, — выговорил, наконец, он. Там, перед его домом, стоял часовой, но чтобы попасть под надежную охрану его винтовки, надо было пройти в эту вьюжную, черную ночь порядочное расстояние по селу. Фельдфебель пожал плечами.

— Что же, вы один до дому не дойдете? Не могу я посылать солдата без распоряжения капитана.

— А вы? — робко предложил Гаплик.

Фельдфебель стукнул кулаком о стол:

— Что вы, в самом деле, думаете? Тут каждую минуту могут позвонить из штаба, а я брошу пост и буду вас водить, как нянька! Да чего вы боитесь? Тут ночью никто не смеет нос за дверь высунуть.

Староста притих и выскользнул из комнаты. На пороге он остановился. Со света ночная тьма показалась непреглядной, густой, как деготь, осязаемой. Он постоял с минуту, и только тогда освоившиеся с мраком глаза различили очертания деревьев по другую сторону улицы, контуры крыш и дорогу. Подняв воротник полушубка, он двинулся вперед. Конечно, с ним обращались, как с последней собакой, — горько размышлял он. Всякий имеет право кричать на него, всякий может сорвать на нем гнев и раздражение. Капитан, фельдфебель, любой солдат считают себя выше его, а он должен работать, как лошадь, и беспрестанно рисковать жизнью. Он пугливо огляделся по сторонам.

Приказ приказом, а в этом проклятом селе все может случиться. Фельдфебель сам боится выйти, дело не в телефоне, просто фельдфебель трусит. А Гаплика безо всяких выгнал в эту ночную тьму, где опасность подстерегает на каждом шагу.

Он старался идти тихо, бесшумно проскользнуть по селу, но снег скрипел и скрежетал под ногами, а ветер, как на зло, минутами стихал, и его шаги наверняка были слышны всему селу. Вдруг ему показалось, что на пово-

роте кто-то стоит. Замерев от ужаса, он остановился. Тень не шевельнулась. Гаплик с трепетом ждал, что будет.

У него мелькнула мысль повернуть обратно, переночевать в комендатуре. Ну, в крайнем случае, просидеть там на стуле до утра. Но он боялся повернуться спиной — тогда тот бросится и...

С решимостью отчаяния он двинулся вперед. И тогда оказалось, что это был придорожный куст. Как он мог забыть про этот куст! Сколько раз ему приходилось проходить мимо него днем!

Но тут Гаплик поскользнулся и в то же мгновение понял, что происходит что-то страшное. Он задышался, что-то заслепило ему глаза, заткнуло рот, обмотало голову. Он хотел крикнуть, но крепкий удар свалил его наземь. Гаплик почувствовал, как чьи-то руки поднимают его, несут, и он покачивается в воздухе. Скрипел снег, слышалось тяжелое дыхание. Потом скрипнула дверь. Его грубо бросили на пол, он ощутил прикосновения чьих-то рук и понял, что его вяжут. Наконец тряпка, обматывавшая его голову, упала. Он заморгал глазами. Лампочка слабо освещала внутренность хаты и находящихся в ней людей. Он узнал хромого Александра, узнал смуглое лицо Фроси Грохач. В нем все задрожало, лысая голова затряслась, и он никак не мог справиться с этой дрожью.

— Садись, Александр, — командовала вся сморщенная, низенькая баба, которой он не знал. — Ты грамотный, надо все записать, чтобы как следует было, по порядку.

Они сели за стол. Прислонившись к стене, он с ужасом смотрел на них. По лицам мелькали тени, снизу на них падал красноватый свет коптившей лампочки.

— А ты встань, раз находишься перед судьями, — сказала коренастая баба и энергично высморкалась на пол.

Он с трудом поднялся.

— Тут стань, урод! Ну, чего крутишься? Стой, как человек!

— Многого от него захотела, Терпилиха, — заметила Фрося.

Терпилиха не поняла.

— Должен стоять как следует. Суд так суд. Его бы надо прикончить еще там, на дороге. А мы — нет, мы его судим, как полагается. Так пусть и он поступает как следует.

Гаплик похолодел от страха. Вот он стоит в хате, которой до сих пор не знал, но которая находится под боком у немецкой комендатуры, в селе, уже месяц занятом немцами. Стоит со связанными руками, а за столом сидят бабы и хромой конюх. Объявляют себя судьями и будут судить его, старосту, назначенного немецким командованием. И это не было страшным сном, это было явью.

— Ну, как твоя фамилия, прохвост? — спросила Терпилиха.

Гаплик хотел ответить, но голос замер в его глотке, и он издал лишь странный писк.

— Ты чего это пищишь? Младенцем притворяешься, что ли? Гляньте-ка на пего. Ты дурака не валяй, а говори! Есть когда нам со всяким дерьмом няньчиться! А ты, Александр, записывай, все записывай! Ну, как твоя фамилия?

— Вы же знаете, — пробормотал он угрюмо.

— А я тебя, гадина ты этакая, не спрашиваю, знаю я или не знаю! Суд так суд, раз я спрашиваю, должен отвечать! Как фамилия?

— Гаплик Петр.

— Ишь ты, Петр! У меня отца Петром звали... Нашли тоже кому человеческое имя дать...

— Да подожди ты, тетка Горпина, надо ведь записать...

— И пиши, пини, все записывай по порядку... Что там дальше?.. Ага! Сколько тебе лет?

— Сорок восемь!

— Сорок восемь... И как только земля сорок восемь лет такую пакость носит... Пиши, пиши, Александр.

— Давно записал. Спрашивай дальше.

— Ага... Что там еще? Да... Староста, а?

— Староста,— подтвердил он мрачно.

— Староста. Ишь ведь чего ему захотелось... А раньше кем ты был?

Он молчал, глядя в землю.

— Что ж ты молчишь, стыдно сказать, что ли? Небось, еще чем похуже старосты?

Он не отвечал, упрямо уставившись на носки своих сапог.

— Эй, ты! А то как дам по уху, сразу заговоришь! Ну, отвечай!

— Подожди, Горпина, я спрошу,— вмешался Александр.

Она уже открыла рот, чтобы возразить, но раздумала и махнула рукой.

— Ну, спрашивай, посмотрим, что у тебя выйдет.

Конюх внимательно рассматривал старосту. Потом тихим, спокойным голосом спросил:

— В нашей тюрьме сидел?

Староста не отрывал глаз от своих сапог.

— Долго сидел?

— Долго...

— Ну, а сколько, примерно?

Молчание.

— За что сидел?

Опять молчание.

— Ты из каких, из крестьян, из рабочих или из господ?

Терпилиха уже хотела вмешаться, но староста неожиданно ответил:

— Из крестьян...

— Ага, кулак?

— Кулак, значит! — с торжеством объявила Терпилиха. — Ишь, захотелось опять мужицкой крови попить!

— Погоди ты, Горпина...

— Чего мне годить? Суд здесь или не суд? Имею такое же право, как и ты! А то и больше! Кто все время говорил: не удастся! А вот и удалось.

— Верно, верно... Только постой, я еще хотел спросить...

— Да мне не жалко, спрашивай.

— Так, значит, кулак... Ну, а из тюрьмы когда сбежал?

— Как только война началась.

— Так. Домой пробирался, а?

— Да.

— Где ж это?

— Под Ростовом...

— Так, под Ростовом... А немцев где встретил?

— Там, под Ростовом.

— Там тебя и завербовали?

— Там.

— Погоди-ка, Александр, надо еще спросить, за что он в тюрьме сидел.

На лице обвиняемого появилось выражение непреодолимого упорства.

— Не скажешь, за что сидел?

Молчание.

— Ты ведь еще до раскулачивания сидел?

— Да.

— Вот как... У Петлюры был? — неожиданно оgoroшил его Александр.

— Был...

Терпилиха всплеснула руками.

— Вы подумайте!..

— Все ясно, — начал Александр. — Кулак, бандит, петлюровец. С самого начала был против советской власти, а?

— С самого начала, — тихо подтвердил Гаплик.

— И, наконец, пошел на службу к немцам...

Терпилиха выскочила из-за стола.

— Из-за него Левонюка повесили, из-за него пять человек в комендатуре сидят, казни ожидают. Он с немцами ходил, коров из хлева на веревке выволакивал, у меня последнюю увел, а детишки пусть с голоду помирают! У Каласюков, у Мигоров, у Качуров последнюю скотину забрал!

— У Лисей тоже, у Смоляченко,— прибавила Фрося.

— Вместе с немцами село грабил!

— Да что тут долго разговаривать, все ясно!

— Тише вы, бабы! — вмешалась Терпилиха, которая шумела больше всех.— Суд так уж суд, надо все обговорить.

— Да что же еще говорить-то? Знаем ведь, что и как, каждый день видим, каждый день из-за него люди пропадают, каждый день кровь и слезы льются...

— Ну, так какие же будут предложения? — торжественно спросила Терпилиха.

— Прикончить гада!

— Прикончить!

— Так что, товарищи, поступило предложение прикончить гада. Кто за?

Все руки взметнулись вверх.

— Кто против? Кто воздержался?

— Таковых нет.

— Так что, товарищи, ясно. Александр, запиши и прочитай.

Конюх долго скрипел пером по бумаге. Все молча ожидали. Наконец он поднялся.

— Суд в составе Александра Овсея, Терпилихи Горпины, Грохач Фроси...

— Евфросиньи,— поправила она, и Александр наклонился над столом.

— Грохач Евфросиньи, Лемеш Натальи и Пузырь Пелагеи, допросив обвиняемого Петра Гаплика, кулака, преступника и немецкого старосту, единогласно постановил приговорить его к смерти.

Гаплик побледнел и вытаращенными глазами оглядел присутствующих.

— Ну, значит, все в порядке,— провозгласила Терпилиха.

— Подождите-ка,— вмешалась Фрося,— приговорить приговорили, а как же мы его кончать будем?

Они ошарашенно поглядели друг на друга.

— А ведь верно, как?

— Повесить бы его,— сказала Пелагея Пузырь.

— Где ж ты его повесишь? Здесь, в хате?

— Пустое ты говоришь. Дать колом по голове, вот и все.

— Застрелить его не застрелишь, не из чего...

— Еще чего нехватало? Чтобы на шум все немцы сбегались...

Гаплика начало трясти. Говорили о нем, обсуждали, каким способом его казнить, будто его здесь и не было, будто он был неодушевленной вещью. Его охватил мучительный страх, он почувствовал приступ тошноты и упал на колени.

— Люди, люди добрые, пожалейте меня! Грешил я против вас, больше никогда не стану!

Он ползал на коленях, колотясь головой об пол у ног женщин. Они отскакивали, как ошпаренные.

— Отвяжись! Ишь, гадина!

Гаплик заплакал. Слезы лились по лицу, оставляя на нем грязные полосы.

— Люди добрые, заклинаю вас, детьми вашими заклинаю!

— Дети! Из-за тебя, собачье семя, и гибнут наши дети; из-за тебя!

— Меня заставили, силой заставили,— отчаянно всхлипывая, причитал Гаплик.

— А ты не вой, а то вот дам поленом по башке... Ишь ты, заставили его, несчастненького... А сам аж до Ростова пер их искать, а?

— Пожалейте, яомилуйте! — хрипел он, катаясь по полу.

Они с отвращением смотрели на него.

— Тьфу, глядеть противно, пи тебе жить не умел как человек, ни умереть как человек не может! — возмутилась Пелагея.

— Слушайте, бабы, нечего с ним тут возиться столько времени, а то дождемся, что он нам своим воем накачает немцев на шею.

Александр подошел сзади и накинул на шею лежавшего веревку.

— За святое дело, — сказал он и поплевал на ладони. Фрося взвизгнула.

— Тише!

Пальцы Гаплика искривились и впились в глиняный пол. Ноги вздрогнули и вытянулись. Староста был мертв.

— Помогите-ка... Фрося, помоги.

Он ухватил труп подмышки, Фрося взяла за ноги. Терпилиха осторожно выглянула во двор.

Но всюду было тихо, только ветер выл, вздымая тучи снега.

— А ну, давайте поживей, в колодец его...

Во дворе был старый колодец, высохший уже много лет назад. Теперь он был до половины засыпан снегом. Туда и бросили тело. Оно упало мягко, беззвучно. Александр лопатой набросал на него снегу, потом смахнул снег с краев колодца.

— До весны полежит, весной придется вытащить. К утру все снегом занесет и следов не останется.

— А как же теперь домой?

— А вы подождите, незачем по ночам таскаться. Раз удалось, второй раз может и не удался, — возразил Александр. — Место у нас есть, поспите до утра, а утром потихоньку по домам.

Они устроились, как смогли, на лавках и на полу. Но уснуть было трудно.

— Ты, Александр, смотри, протокол-то хорошенько спрячь, придут наши, надо будет сдать.

— Уж я спрячу, не бойся, никто не найдет.

— Видишь, Александр, вот и удалось,— еще раз подчеркнула Терпилиха.

— Чего ж не удастся,— пробормотал он, уже засыпая.

VII

Дверь хлопнула. Федосья вздрогнула и уронила ведро. Вода широкой струей разлилась по глиняному полу кухни.

— Что у вас руки дырявые, что ли? — сердито заорал Вернер, подскакивая, чтобы грязная вода не попала на его начищенные до блеска сапоги.

Она не ответила. Сердце бешено колотилось в груди. Она подтирала тряпкой воду, но руки у нее дрожали, и она по нескольку раз принималась тереть сухие места, оставляя лужицы в углублениях пола. Нет, сегодня она не могла ничего делать. Каждый звук, каждый шорох заставляли ее вздрагивать, как от удара кнута. Вся она была одно напряженное ожидание. Ведь они уже идут, они каждую минуту могут быть здесь.

Ее невыносимо тяготило, что знает только она, единственная во всем селе, и больше никто. Конечно, оно и лучше, что никто не знает, но как тяжело одной ждать! Сердце замирает, перехватывает дыхание — ведь в любой момент, в любой момент могут притти...

— А ты подумай, как это устроить,— бросил через плечо Вернер лежащей еще в постели Пусе. Он вышел, снова хлопнув дверью, и Федосья опять вздрогнула.

Пуся лежала, закинув руки за голову и прикусив губу. Каким тоном он сказал это! Словно она его раба, которая обязана оказывать ему всевозможные услуги. Он не может найти партизан, хотя у него есть и солдаты, и телефоны, и все на свете, а от нее, с которой никто в селе и разговаривать не хочет, требует, чтоб нашла их она. Пуся

рассердилась. Слишком много он забрал себе в голову. Что же он, думает, что за шелковые рубашки, за эти нечастивые чулки имеет право орать на нее!

Она отлично знала, что из разговора с сестрой ничего не выйдет и не может ничего выйти. Они не разговаривали друг с другом еще до войны. Ольга несколько раз приезжала в местечко на какие-то там съезды, учительские курсы и даже не заходила к ней. Видно, считала, что Пуся недостойна посещения. Еще бы, это такое преступление, что она не работала, не уродовала рук стиркой, не мыла полов и не сидела над изучением трактора. Ольге хочется, чтобы все были похожи на нее. Она забывает о своем лошадином здоровье и о хрупкости сестры. Ольга не заботилась о том, чтобы быть красивой, кое-как обвиняла вокруг головы свои толстые косы. Зимой руки у нее трескались от мороза, летом она загорала, как цыганка. Пуся потянула руку к висевшему над кроватью зеркальцу и стала внимательно рассматривать себя, свои узенькие, выщипанные брови, черные локоны, круглые глаза под черными ресницами, тонкие губы, за которыми виднелись треугольные острые зубки.

Нет, она не годилась для такой работы, какую выполняла Ольга. Да и не было надобности в этом. Сережа служил в армии и получал деньги; на то, что можно было достать в местечке, вполне хватало. А Ольга этого не понимала. Она считала, что Сереже плохо живется. А чем плохо? У него была жена, которая умела хорошо одеться даже в те жалкие тряпки, какие удавалось достать, она была красиво причесана, ухаживала за руками и выглядела лучше всех этих местечковых дурочек, которые бежали, торопились и вечно что-то делали. А что у них не было детей, что Пуся этого не хотела? Так вот не хотела, и все. Детей и так достаточно. Сережа женился на ней, а не на детях, и когда женился, о детях он ничего не говорил. А Ольге всего этого было достаточно, чтобы относиться к сестре, как к чужому человеку. Так как же она к ней

сейчас отнесется? И чего она, собственно, хочет от Пуси? От Сережи не было никаких вестей с тех пор, как он пошел на фронт, уже целых пять месяцев. Он или погиб, или в плену, ведь не может же быть, чтобы за пять месяцев не дошло ни одно письмо, ни одна открытка. Кто знает, сколько времени продлится война? Что ж, ей ждать год, два или сколько там еще и, в конце концов, подохнуть с голоду? Нет, она поступила вполне благоразумно. А что Курт немец, — так что ж такого? Немцы теперь здесь хозяева, немцы управляют и будут управлять. Большевики кончились, это совершенно ясно. И все было бы хорошо, если бы Курт не стал за последние дни таким раздражительным, злым. Он так грубо с ней обращается. Теперь вот требует этого разговора с Ольгой. Пуся знала, что не решится даже попробовать повидаться с сестрой. Но как выпутаться из этой истории? И кто ему сказал, что Ольга ее сестра? Недовольная, она медленно одевалась. Этого еще не хватало, чтобы Курт предъявлял ей требования. Кажется, у него есть разведчики, шпионы, целый аппарат.

Пуся небрежно прикрыла постель одеялом и взяла со стула куртку Вернера, чтобы повесить ее в шкаф. В кармане зашелестела бумага. Пуся оглянулась на дверь и торопливо вытащила бумагу. Это было письмо в длинном голубом конверте, с немецким адресом. Она не умела читать по-немецки, но все-таки вынула письмо из конверта. Этот голубой конверт показался ей подозрительным.

Четыре странички голубой бумаги были исписаны мелким, ровным почерком. Вверху первой странички был приклеен засушенный цветок. Пуся поднесла бумагу к лицу. Она издавала легкий запах каких-то незнакомых ей духов. Не могло быть сомнений — письмо от женщины. Пуся до крови закусил губу. Курту писала женщина, женщина оттуда, из Германии. На хорошей почтовой бумаге мелким, ровненьким почерком. Конечно, письмо могло быть, например, от матери, но цветок?

Ах, чего бы она не дала, чтобы прочесть письмо, чтобы узнать, что пишет Курту эта неизвестная женщина! Она взглянула на дату. Письмо было написано совсем недавно. Да, письмо пришло, видимо, вчера. На Курте была другая тужурка, и он забыл письмо в кармане. До сих пор она не видела у него никаких писем, никаких фотографий.

Никаких? Она задумалась. Ведь у него есть еще бумажник, с которым он никогда не расстается и к которому не позволяет ей прикасаться. Что могло находиться в этом бумажнике? И ведь ночью ему приносят не на дом, а в комендатуру. Он может хранить письма и фотографии в том ящике стола, который, уходя, всегда так тщательно запирает на ключ. Что она в конце концов о нем знает? Только то, что он сам о себе говорит. Еще вначале, когда она согласилась уехать с ним из местечка, он дал ей торжественное обещание, что возьмет ее с собой в Дрезден и там она поженятся. Здесь и правда негде обвенчаться, она отлично понимает, что надо подождать. Да это и не так важно.

До сих пор она была совершенно спокойна,— она же чувствовала, что правится Курту. И вот только теперь это резкое требование разговора с Ольгой пробудило в ней иные мысли, заставило ее увидеть некоторые вещи в новом свете. Почему он теперь так редко говорит о Дрездене, так неохотно поддерживает этот разговор, когда она сама заводит его? Почему у него никогда нет времени, почему он так сердит и раздражителен? Она ведь не изменилась, она такая же, какая была вначале, когда они познакомились в занятом немцами местечке, когда Курту отвели комнату в ее квартире. Это Курт теперь другой, Курт изменился, а теперь еще это письмо...

Она подумала, что напрасно сидит так, с письмом в руках. Прочесть его она все равно не может. А если войдет Курт, будет скандал. Он вечно твердил ей, чтобы она не трогала бумаг, никаких бумаг.

Пуся вложила голубой листок в конверт и повесила куртку в шкаф. Она решила внимательно следить за Куртом. Она непременно узнает, кто ему пишет и действительно ли его резкое обращение с ней объясняется переутомлением и нервностью, или это что-то другое.

Федосья в кухне гремела посудой, и эти звуки невыразимо раздражали Пуся.

— Вы бы потише! — крикнула она высоким срывающимся голосом.

Федосья заглянула в открытую дверь, и Пуся поймала очень странный взгляд. Нет, это не была та холодная ненависть, презрение, какое она до сих пор видела в глазах крестьянки. Теперь в этих глазах светилось торжество, какая-то радость, они блестели, как никогда. Пуся рассердилась. Чему это она обрадовалась? Наверно, поделушивала у дверей и слышала, каким тоном говорил Курт. Вот Курт, — даже эта баба заметила, даже она уже злорадствует!

Она вспомнила, что может отомстить старухе. Она еще не сказала Курту, что сын Федосьи лежит убитый в овраге. Дня два она молчала сознательно, чтобы помучить Федосью, а потом просто забыла, когда Курт стал приставать к ней и требовать разговора с Ольгой. Но теперь заговорила злость.

— Подождите, сегодня я скажу мужу, как только придет, скажу, — пригрозила она.

Федосья рассмеялась злым смехом и, упершись руками в бока, сверху вниз глянула на нее.

— А мне-то что! Скажи, скажи «мужу»! — дерзко ответила она, с издевкой подчеркнув слово «муж». — Скажи, я и сама могу сказать, а то у тебя что-то не получается. Скажи, хоть сто раз скажи! Одевайся, беги в комендатуру, да поскорей!

Пуся смотрела на нее широко раскрытыми, изумленными глазами.

— Да вы что?

— А я ничего! Чего ты так удивляешься? Ты хотела сказать, вот я и говорю,— скажи, мол. На то ты ведь и живешь, чтобы шпионить, чтобы немцам ябедничать! Ну и беги, говори, что знаешь!

— И скажу, так и знайте, скажу.

— Я и говорю — скажи, что ты все грозишь да грозишь? Меня этим не напугаешь.

— А его у вас заберут.

— Пусть забирают. У меня уж его забрали месяц назад. Больше не могут отобрать.

— Зачем же вы ходите туда каждый день?

— Хожу и хожу. Мое дело. А заберут — не буду ходить.

— Курт велит вас арестовать, вы отлично знаете, что туда не разрешают таскаться.

— Вот напугала! Боюсь я вашего ареста! Так прямо и тряусь со страха...

Федосья вошла в комнату. Она уже не смеялась. Темные глаза смотрели грозно.

— Ты бойся, ты! Слышишь? Ты дрожи, ты плачь от страха!

Пуся съежилась на скамье.

— Что с вами? Мне-то чего бояться?

— Всего бойся! Людей бойся, они тебе не простят! Воды бойся: захочешь в нее броситься — она выкинет тебя! Земли бойся: спрятаться в нее захочешь — она тебя не примет. Моему Васе лучше там, в овраге лежать, Левонюку лучше в петле висеть, Олене было лучше голой по морозу бегать под немецкими штыками, всем лучше, чем тебе будет! Ох, позавидуешь ты им еще! Кровавыми следами будешь плакать, что ты не на их месте! Сто раз пожалеешь, что не тебя задушили на виселице, что не тебя штыками закололи, не тебя расстреляли!

Она задохнулась от гнева и ненависти, от дикой радости, что свои уже идут, уже приближаются, что, быть

может, в эту самую минуту, когда она бросает эти слова прямо в побелевшее лицо изменницы, у околицы уже раздаются выстрелы.

— Уходите отсюда,— задыхающимся голосом прошептала Пуся.— Немедленно уходите!

Федосья еще раз издевательски рассмеялась.

— Могу выйти, не велика мне радость на твою рожу глядеть. Ты еще припомнишь, как меня из моей собственной хаты гнала!

Она вышла так хлопнув дверью, что с белой стены посыпалась известь.

— А ты беги, жалуйся своему, что я кричу на тебя!— ворчала она про себя, подкладывая шенки в печь.— Недолго ему о тебе думать, недолго! Придется подумать кое о чем другом. Может, даже нынче.

Но Курт вовсе и не думал о Пусе. Взбешенный, он шел в комендатуру, и солдаты, видя его сжатые губы и складку на лбу, вытягивались больше, чем обычно. Фельдфебель вскочил из-за стола.

— Из штаба звонили?

— Так точно, господин капитан.

— Почему же не дали мне знать?

— Не приказано было, господин капитан.

— Как, не приказано?

— Сказали: не надо.

— Зачем же тогда звонили?

— Спрашивали, дала ли уже арестованная показания.

— А вы что сказали?

— Доложил, что она никаких показаний не дала.

— И еще что? — В голосе капитана зашипели ядовитые нотки.

Фельдфебель побледнел.

— Так точно, и еще... Еще доложил...

— Ну, что еще доложил?!

— Еще... Доложил о казни арестованной...

— Кто вам разрешил это докладывать? Кто разрешил уведомлять? Кто вам это поручил, а? Я, что ли, я?

Наклонившись вперед, он маленькими шагами приближался к вытянувшемуся перед ним человеку. Фельдфебель не посмел отступить.

— Я вам это приказывал, поручал?

— Никак нет, господин капитан!

Тяжелая рука обрушилась на его щеку: капитан размахнулся наотмашь и ударил изо всей силы.

Фельдфебель покачнулся, но продолжал стоять, вытянувшись и глядя прямо в глаза Вернеру.

— Кто приказал, кто позволил? — шипящим голосом спрашивал офицер, снова замахиваясь.

На щеке фельдфебеля проступило красное пятно. Белый отпечаток пальцев быстро наливался кровью, темнел.

— Где староста? Приходил сегодня?

Фельдфебель, не моргая, напряженно глядел в глаза капитана.

— Еще не приходил.

— Сколько хлеба доставлено?

— Никак нет, хлеба нет. До сих пор никто не явился. Вернер выругался.

— А по делу мальчика?

— Никто не явился, господин капитан.

Капитан яростно двинул стулом, сбросил со стола промокательную бумагу. Фельдфебель быстро наклонился, поднял ее и положил на стол, на то же место, где она лежала.

— Пошлите за старостой! Немедленно!

— Слушаюсь, господин капитан!

Щелкнув каблуками, фельдфебель вышел. Вернер открывал ящики, стремительно выбрасывал из них бумаги. Глаза застилал красный туман бешенства. Проклятая баба не сказала ни слова, и не сказала бы, хоть год води следствие. Сто раз бы подохла, а не сказала. Но там, в штабе, решат, что он цоторопился, поступил легкомысленно.

но, что он упустил этот единственный след, который мог бы довести до неуловимого, как ветер, таинственного партизанского отряда, нападающего на села в районе действия штаба. А этот идиот не выдумал ничего умнее, как поспешно уведомить, что с бабой покончено. Ну, и ясно, те даже не велели звать его к телефону, просто поговорили за его спиной с его подчиненным. Конечно, там рожу ему яму и ведут интригу во-всю! А тут, вдобавок, до сих пор нет хлеба. Прошли почти сутки, а никто не пришел, никто не признался, где спрятано зерно. Этот идиот староста уверял, что они испугаются... Вот тебе и испугались! Хорошо им там в штабе говорить — староста, староста, а староста оказался совершенно бесполезным человеком, ничего не умеет сделать, ничего не добился, не имеет никакого влияния на селян.

Фельдфебель снова щелкнул каблуками у дверей.

— Ну!

— Господин капитан, разрешите доложить: старосты нет!

— Как нет? Я же сказал, послать за ним!

— Разрешите доложить, я сам там был — старосты нет.

Капитан пожал плечами.

— Куда же он ушел?

— Разрешите доложить — неизвестно.

Вернер вскипел:

— Да ты что, с ума сошел? Я тебе его буду искать?

— Господин капитан, разрешите доложить, мы уже всюду искали. Вчера вечером староста долго сидел здесь, мы с ним подсчитывали предполагаемые запасы зерна в селе. Около двенадцати часов ночи староста пошел домой. Домой он не приходил, и никто его больше не видел.

— Всюду спрашивали?

— Так точно, господин капитан.

— Сбежал?

— Так точно, господин капитан, вероятно, сбежал.

— Ну, вот тебе,— мрачно сказал Вернер, остолбенело глядя на телефон.— Что же теперь будет?

— Разрешите доложить: не знаю.

— Идиот! — заорал капитан.— На что он нам был нужен, этот староста? В чем он нам помог? Что он сделал? Что устроил? Ну?

— Действительно, господин капитан...

— Ага, действительно... Садитесь и пишите рапорт в штаб, что староста бежал. Пусть присылают другого, может, найдут поумней.

Фельдфебель вышел в другую комнату и взял бумагу. Он написал рапорт о бегстве старосты и принялся за донос на капитана, который хотел скрыть от штаба казнь арестованной Олены Костюк.

— Заузе!

Он вскочил, на ходу ловким привычным движением сбросив в ящик начатый донос.

— Кто патрулировал эту ночь в селе? Допросите их всех.

— Я уже допрашивал, господин капитан, никто ничего не знает.

— Нечего сказать, хорошие порядки! Оказывается, можно разгуливать взад и вперед, выходить из села, а наши посты «ничего не знают». Этак нас в один прекрасный день перережут, как баранов, со всеми нашими постами! Как они могут ничего не знать? Ведь не во воздуху же он улетел, а ушел! Что они делали, спали?

— В такой мороз спать невозможно. А вьюга страшная, человек, хорошо знающий местность, может проскользнуть. Надо бы расставить посты вокруг всего села.

— Я вас не спрашиваю, что надо, чего не надо! Кого это вы будете расставлять? Где у вас столько солдат? А сами-то вы куда глядели? Что, вы не знали, что старосту надо держать под особым присмотром?

Фельдфебель вспомнил, что староста просил проводить его домой. Он, видимо, боялся ходить по ночам. Так что,

пожалуй, и бежать ночью побоялся бы. Но он предпочел не говорить об этом капитану, чтобы не разъярить его еще больше. Фельдфебель чувствовал себя виноватым — надо было все-таки проводить этого Гаулика.

— Воюй тут с вами! Банда идиотов! — ворчал капитан. Фельдфебель, вытянувшись, ожидал у порога.

— Ну, что же вы? Идите, пишите, обрадуйте их, пишите! Хорошего мне помощничка подобрали, нечего сказать!

Фельдфебель вышел и принялся торопливо приписывать к доносу новые замечания, материал для которых дали слова метавшегося в бешенстве Вернера. Он то и дело прикладывал руку к красной, горевшей огнем щеке.

Вернер разложил бумаги, но вскоре понял, что работать он не в состоянии. Позвал фельдфебеля,

— Дежурьте у телефона, я пойду пройдусь.

— Осмелюсь доложить, господин капитан, страшный мороз...

— Без вас знаю, ведь я шел сюда, — буркнул капитан и поднял воротник.

Ветер притих, но мороз еще усилился. Снег скрипел под ногами. Солнца не было, но снег резал глаза ослепительным блеском. Вернер остановился у порога и с ненавистью взглянул на село. Оно лежало, словно в пуховой перине, в снежных сугробах, тихое, спокойное на вид. На крышах толстые шапки снега. Лишь кое-где ветер обнажил соломенные кровли. Ни следа жизни.

Тут и там суетились немецкие солдаты, и больше ни звука, ни движения — мертвая тишина. Даже собаки не лаяли. Впрочем, солдаты перестреляли их в первый же день. Собаки бросались на них, не пуская в хаты. Собаки были такие же дикие, как и люди.

Затаенной угрозой повеяло на капитана от этого с виду сияющего села. Нет, уж лучше было на фронте лицом к лицу драться с врагом. И это называлось отдыхом — сидеть здесь и наводить порядок в занятом селе. Хорош порядок — уже месяц, как отогнали большевиков, а до сих

пор сделать ничего не удалось. Решительно все, все планы, все распоряжения разбивались о несгибаемое, упорное, молчаливое сопротивление. Чего собственно добиваются эти тупые люди, неужели они не понимают, что в конце концов принуждены будут сдаться, что, если бы даже пришлось истребить их всех до последнего, все равно все пойдет своим чередом, все пойдет по заранее обдуманному немцами плану? Нет, этого они не хотят понять. Повидимому, они действительно верят в победу большевиков.

Откуда-то издали донесся звук мотора. Капитан опустил воротник и прислушался. Летел самолет. Рокот мотора звучал в чистом воздухе тоненько, как жужжание комара. Но звук нарастал, усиливался. Капитан, заслонив рукой глаза от сверкания снега, всматривался в небо.

— Вот там, господин капитан,— решил показать часовой у дверей комендатуры.

Вернер обернулся туда, куда ему показали. Да, вот он летит, сначала с комара, потом с муху, растет, увеличивается на глазах.

— Наш? — спросил капитан тоном полувопроса, полуутверждения.

Часовой прислушался.

— Должно быть, нет, господин капитан. Другой мотор. Вернер забеспокоился.

Уже месяц в окрестностях не появлялся ни один неприятельский самолет. Неужели они опять зашевелились?

Из дому вышло несколько солдат.

— Большевистский,— сказал один из них.

Улица уже не была пустой. Словно из-под земли, появились люди. Перед хатами стояли женщины, высыпали гурьбою дети. Все, заслоняя глаза руками, смотрели вверх.

— Наш! — закричал Саша.

Малочиха схватила его за плечо.

— Наш?

Но ни у кого уже не оставалось сомнений. Самолет летел низко, совсем низко. И в ярком блеске снежного дня все увидели безошибочный знак — красные звезды на крыльях.

Малючиха опустилась на колени. Вслед за ней все бабы, как одна, попадали на колени. Дети, забыв обо всем, выбегали на середину улицы, задирали головы, махали руками.

— Наш! Наш! — радостно пищали они. По сосредоточенным, торжественным лицам женщин текли слезы. Над селом летел самолет, свой самолет, несущий на крыльях братский привет и весть с востока, знак свободы — красную звезду. Первый свой самолет за весь месяц. Первый самолет, который не выл мрачным воем смерти — прерывистым, одышливым воем немецкого мотора, первый, на крыльях которого не было черной свернувшейся змеи — свастики.

Капитан услышал крики детей. Он взглянул на дорогу и увидел зрелище, какого не видал за все время своего пребывания в селе. Всюду было полно народа. Перед хатами стояли на коленях женщины, на дороге, словно стая воробьев, прыгали дети, старики махали руками несущейся в вышине птице. Он задрожал от гнева.

— Разогнать эту банду! — заорал он солдатам. Те не поняли. Вернер выхватил револьвер и выстрелил в толпу детей. Щелкнул выстрел, за ним другой. Но капитан промахнулся. Рука дрожала от досады. Дети рассыпались как стая воробьев от внезапно брошенного камня. Женщины кинулись за ними. В одну минуту всех точно ветром сдуло, все исчезли. Двери торопливо захлопывались, и не успел капитан оглянуться, как село опять опустело, словно вымершее. Нигде не было ни души.

— Что же вы, болваны, не слышали, что я сказал? — накинулся он на остолбеневших солдат, взбешенный тем, что все видели, как он стрелял и промахнулся, промахнулся с такого близкого расстояния. — Стойте и преспо-

койно смотрите на враждебные демонстрации. А что же с зенитками, где зенитки?

Как раз в этот момент загрело зенитное орудие. Снаряд темным облачком разорвался далеко позади самолета. Другой еще дальше. Самолет поднялся немного выше и исчез вдали.

— Тоже во-время собрались! Соли ему на хвост насыпать... Заснули, что ли? — заорал он на подбежавшего унтер-офицера.

— Господин капитан, разрешите доложить, мы думали наш... А потом...

— Все бабы в селе узнали чей, только вам что-то показалось! Да я вас всех...

— Первый самолет, господин капитан, — пытался оправдаться унтер-офицер.

— Молчать! Тебя не спрашивают! Первый самолет! Вот как он спустит бомбу на батарею, тогда вам будет первый самолет! Дураки!

Капитан отвернулся и, кипя от негодования, направился обратно в комендатуру. В нем все дрожало от бешенства. Проклятый день, проклятые люди!

— Ну что, староста не нашелся?

Испуганный фельдфебель вскочил из-за стола.

— Господин капитан, не было приказа продолжать поиски...

Вернер гневно фыркнул и сел. Ну, конечно, идиот на идиоте, никто ни о чем не думает... А ответственность ляжет на него одного, уж приятели в штабе постараются услужить ему.

Тут ему пришло в голову, что если неприятности начнутся, то могут быть дополнительные неприятности и из-за Пуси. Это вдобавок к разговорам о его либеральном обращении с населением.

«Надо будет сплавить ее», — нехотя подумал он.

Ему ничего не хотелось делать. Его, боевого офицера, нагружают хозяйственными заботами, заставляют наво-

дить порядок в этом проклятом селе. Что тут можно сделать? Груды бумаг, бумажек, бумажонок, из которых выкарабкаться невозможно. Староста с фельдфебелем без конца рылись в колхозных книгах, но из этого тоже ничего не вышло. Армия требовала хлеба, мяса, жиров. Но хитрые большевики угнали колхозные стада еще осенью, а тех немногих коров, которые остались во дворах, едва хватило для своего отряда. Ну, а хлеб либо вывезен, либо так спрятан, что его никакими силами не раздобудешь.

— Ну, как заложники?

— Сидят, господин капитан.

— Есть им дали?

— Н-нет... Никак нет, господин капитан.

— Пить?

— Тоже нет,— еще тише буркнул солдат.

— Это хорошо, это очень хорошо... Ни крошки хлеба, ни капли воды! Они не хотят нам дать есть, и мы им не дадим есть... Хотят подышать, пусть подышают. Невелика чотеря...

Нет, он не мог высидеть за столом. Он снова вышел. Подумал было — не зайти ли домой, но при мысли о Пусе его охватила скука. Он повернул к позициям, где стояла артиллерия. Артиллерия была его слабостью, хотя он не был специалистом в этой области. Теперь он решил дать себе разрядку, устроить небольшое учение орудийной при-слуге.

Несколько минут спустя на площади уже слышался его резкий голос, выкрикивавший команду и ругательства по адресу солдат.

— Бесится,— заметил один из солдат в комендатуре.

— Как же ему не беситься... Хлеба нет как нет, да еще староста сбежал...

— Ловкач...

Фельдфебель подозрительно взглянул на говорившего.

— Что это, ты вроде завидуешь старосте?

— Чему завидовать, господин фельдфебель? — спросил солдат, невинно глядя в голубые глаза фельдфебеля. — Далеко не убежит, наши его поймают.

— Если он бежал в тыл, — прибавил другой.

— А если вперед — большевики с него шкуру сдерут. Нет, уж ему-то завидовать нечего.

— Если его попросту мужики где-нибудь не кокнули. Фельдфебель вздрогнул.

— Что ты болтаешь? Как мужики могли его кокнуть? Он до поздней ночи сидел здесь, а домой вообще не вернулся.

— По дороге, например...

— Ночью тут никто не ходит. Приказ был ясен! — резко прикрикнул фельдфебель.

Солдат искоса взглянул на него, но промолчал. Не мог же фельдфебель за одни сутки забыть, что, несмотря на приказ, несмотря на патрули, какой-то мальчик прокрался к сараю, а потом, как это ни странно, труп этого мальчика исчез необъяснимым образом, хотя, как известно, трупы сами по себе с места на место не переносятся.

— И вообще, что это за разговоры? Делайте свое дело! — рассердился фельдфебель.

Солдаты притихли. Фельдфебель умел лупить по морде не хуже капитана. А так как ему сегодня попало, — на его щеках еще виднелись багровые отпечатки пальцев, — то он в любой момент мог сорвать злость на ком попало.

— Где Нейман?

— Послан с командой искать мяса.

Фельдфебель пожал плечами.

— Искать мяса... Что, они не знают, где коровы?

— Коров уже почти нет, господин фельдфебель, ведь господин капитан десять голов отправил позавчера в штаб. Они пошли кур искать.

Фельдфебель пожал плечами и углубился в бумагу, ожидая, не позвонят ли из штаба. Он тихо злорадствовал. По морде-то бить легко, а вот достать хлеб, кото-

того требует штаб, — труднее. И нащупать, где находятся партизаны, тоже нелегко. Он знал, что капитана ожидают крупные неприятности. И хотя, работая вместе с ним, он отлично понимал, что здесь никто бы не мог ничего сделать, но все же радовался, что Вернер сломает себе шею на этом деле. Слишком уж он задирает нос, слишком мало думал о службе и слишком много о своей похожей на крысу любовнице. Теперь ему за все придется расплачиваться.

Глухая злоба нарастала в сердце фельдфебеля еще с того дня, когда, войдя в местечко, они с капитаном ворвались в квартиру, откуда стреляли из окна во время отступления красных. В квартире они никого не застали, но фельдфебель нашел в шкафу чудесную серую меховую шубку. Как раз на другой день можно было отправить посылку — Мицци так просила шубку. Но капитан огнял ее у него — для своей обезьяны. А теперь вот они сидят в селе, где тут взять шубку? Ничего, кроме вонючих полушубков, нет. Мицци мерзнет в плохоньком пальтишке, а капитанская любовница разгуливает в шубе. Фельдфебель не мог вспомнить об этом без злобы и постоянно придумывал, что бы еще сообщить в штаб о капитане. Там Вернера тоже не любили за то, что он задирает нос, считал себя лучше всех. А чем он лучше? Фельдфебель Заузе никогда не забывал о том, что сам фюрер был в свое время фельдфебелем. Лучи фюреровой славы падали и на фельдфебеля Заузе, и он не простит ни отнятой у него капитаном шубки, ни пощечины, которую, впрочем, он получал не в первый раз.

Капитанские окрики доносились от церкви и сюда, и Заузе злобно усмехнулся. Кричи, кричи, так тебе это и по-может!

По селу шумели солдаты. Они толпой ходили по хатам. Они бы страшно возмутились, если бы кто-нибудь упрекнул их в трусости. И все же даже среди бела дня

им было не по себе в этом проклятом селе, и они предпочитали ходить кучками.

Грохачиха отворила дверь на стук, угрюмо, но смело оглядела лица солдат. Девочки спрятались в углу хаты.

— Чего?

— Кур, кур давай!

— Кур нет, вы уже всех сожрали.

Не понимая слов, они поняли смысл их, но не поверили. Они разбрелись по двору, заглянули в курятник, в пустой хлев, разбросали солому в пустом сарайчике, будто там могли сидеть куры. Она пожимала плечами, глядя на их суетню.

— Ничего нет, — сказал солдат, порывшись в соломе.

Они пошли дальше, от сарая к сараю, от хаты к хате.

— Кур, кур давай!

Единственная курица, которую Банючиха прятала под печкой от реквизиций, не во-время закудахтала на свое несчастье. Немцы с торжеством извлекли ее из-под печки. Она вырвалась из рук, в испуге вскочила на окно и стала биться крыльями о стекла.

— Заходи, заходи с той стороны!

Курица с пронзительным криком бросилась в сени и вылетела во двор. Солдаты кинулись за ней. Она неслась с распростертыми крыльями, взбивая сыпкий снежок. Один из солдат выхватил револьвер и выстрелил. Простреленная, превращенная в кровавый комок, птица осталась на снегу. Солдат схватил ее за ноги и победоносно потряс ею в воздухе.

Они переходили от хаты к хате. «Кур, давай кур!» — раздавался то тут, то там требовательный, назойливый голос.

Их замечали издали. Кто успевал, поспешно прятал все, что можно было спрятать. Кур совали под печки, под кровати, под перины, на чердаки. Немцы искали, принюхивались, как голодные собаки. Но добыча была очень небогатая. Наконец они решили, несмотря на отсутствие со-

ответствующего приказа, вывести из хлеба одну из немногочисленных оставшихся в селе коров. Локутиха заливалась слезами и ломала руки. Ее оттолкнули так, что она чуть не упала.

— Пеструшка! Пеструшка!

Корова смотрела кроткими, влажными, как только что очищенные каштаны, глазами. Ее тащили на веревке, но она упиралась. Сверкающий снег слепил ей глаза. Не желая переступить через высокий порог, корова припала на передние ноги. Один из солдат рванул ее за хвост, и она жалобно замычала.

— Стельная же корова, стельная,— кричала Локутиха.— Люди милые, что же это делается на белом свете! Стельная корова!

— Не кричите, мама,— мрачно сказал ей старший сын, десятилетний Савка, исподлобья глядя на немцев.

— Да что же я вам есть дам, детки мои родные, да чем же я вас прокормлю! Ничего не осталось, одна Пеструшка, да и ту уведят! Ох, помрут мои дети, с голоду помрут.

— Да не кричите же, мама,— еще суровее одергивал ее Савка.

Корова переступила, наконец, через порог. Ее толкали, тащили, осыпали ударами. Локутиха бежала рядом, стараясь хоть еще раз коснуться вздутого бока своей кормилицы.

— Пеструшка, Пеструшка!

Корова оглянулась на хозяйку большими влажными глазами и жалобно, протяжно замычала.

— Родимая ты моя! Скотинка, а понимает, что делается! Пеструшка!

Она бежала, дутаясь в длинной юбке, красная, заплаканная, забыв о немцах, обо всем окружающем, пока, наконец, ее не толкнул кто-то, да так, что она со стоном упала на снег. Савка широким мужским шагом подошел к ней.

— Говорил я вам, мама... Поможет вам это, что ли?

Встаньте, мама, встаньте, разве можно! Мороз-то какой!

Она уткнулась лицом в снег, захлебываясь от рыданий. Слабыми детскими руками Савка пытался поднять ее.

— Что теперь будет, что теперь с нами будет?

— Да тише вы,— рассердился он.— Сколько коров позабирали, а никто такого крика не поднимал, как вы.

— Да ведь пятеро вас у меня,— оправдывалась она.

— У других и по восьмеро...

— Да не учи ты меня, Христа ради. Как ты с матерью разговариваешь?

— Идите, идите-ка лучше в хату. Вон там Нюрка орет, совсем зашлась.

— Орет, говоришь?

Шелестя обмерзшим подолом юбки, она кинулась к хате. Савка тяжелой походкой уставшего мужчины двинулся за ней.

Толпа солдат, подгонявшая корову, скрылась за домом комендатуры. Там в сарае немцы устроили нечто вроде небольшой бойни. Через несколько минут ободранная дымящаяся туша уже висела на поперечной балке потолка.

Тем временем Вернер успел устать от собственного крика на площади и вернулся к себе.

— Господин капитан, разрешите доложить, реквизируют корову,— отрапортовал фельдфебель.

Капитан махнул рукой. Эти хозяйственные дела смертельно надоели ему. Сегодня корова, завтра корова, но что будет через несколько дней? Командование отдало строгий приказ, чтобы части снабжались в селах, где стоят. Не прошло и месяца, а село опустошено до чиста. Съедены уже все гуси, куры, утки, все свиньи. Осталось еще несколько несчастных коров. Что же будет дальше?

— Ну, как там, какое-нибудь продовольствие прислано?

— Вино и шоколад, господин капитан.

— А кроме вина и шоколада?

— Ничего кроме, господин капитан. Позавчера нам еще

раз напомнили о приказе, чтобы снабжаться из местных запасов. Вино и шоколад послать вам на квартиру?

— Пошлите, только чтоб по дороге не сожрали.

— Никак нет, все в запечатанном ящике.

Вернер застегнул шинель и медленно скручивал папиросу, о чем-то размышляя.

— Да, вот что, Заузе...

— Слушаю, господин капитан.

— Снабжение производится без всякого порядка. С сегодняшнего дня за снабжение отвечаете вы.

— Слушаюсь, господин капитан,— сказал фельдфебель. Его лицо искривилось от злобы. Вернер был уже в дверях.

— Господин капитан!

— Ну, что еще?

— Вы разрешите реквизировать в соседних селах?

Тот пожал плечами.

— Не валяйте дурака! Те села назначены другим частям. Вы это прекрасно знаете.

— Здесь уже ничего нет, господин капитан.

— Легче всего сказать — ничего нет! Нет, так надо поискать, понимаете! Поискать надо! Будете хорошо искать — найдете!

Он вышел, хлопнув дверью.

VIII

Пуся вышла из дому и нерешительно огляделась по сторонам. Она чувствовала, что это не имело ни малейшего смысла, но Курт настаивал, настаивал все резче и грубее.

— Ведь это твоя сестра. Неужели ты не сумеешь столковаться с родной сестрой? Ты просто не хочешь! Что ж, придет время, и я чего-нибудь не захочу...

Пуся испугалась. Ведь она была в зависимости от Курта. А что если ему вздумается бросить ее в этом селе, где все смотрят на нее, как на врага?

Засунув руки в рукава шубки, она медленно шла по

улице. Предстоящий разговор был совершенно безнадежен. Не могла же она сказать Курту, что уже говорила раз с сестрой, если можно назвать разговором дикий скандал, происшедший между ними тотчас после Пусиногo приезда в село. Ведь Ольга просто плюнула ей в лицо, а единственное, что Пуся узнала, были вылетевшие в гневe слова о Васе, лежащем в овраге. Ольга хотела оскорбить ее, унижить тем, что она живет в хате женщины, сын которой погиб в бою. Какое отношение это имеет к ней, Пусе? Но Ольге казалось, что имеет. Ольга покричала и ушла. Вот и все. Ну, как теперь к ней итти, как разговаривать с ней?

Ветки придорожных деревьев серебрились от инея, снег искрился и переливался на солнце, утомляя глаза резким блеском. Пуся вздохнула и подумала о Сереже. Нет, Сережа никогда не кричал, никогда не сердился на нее, разве только вздохнет и задумается. Но теперь нечего вспоминать Сережу, теперь ее муж Курт.

Ее охватил гнев. Как он смеет? Но она знала, что смеет и что ей ничего не поделать. Она относилась к Курту совершенно так же, как к Сереже. Значит, это не она виновата в этой размолвке, они с Куртом совсем разные, непохожие друг на друга.

Уже близко хата, в которой живет Ольга. Еще несколько шагов. Что делать? Постучаться и войти? Нет, это невозможно. Пуся постояла с минуту в нерешительности, но мороз, несмотря на теплую обувь, больно щипал пальцы ног, и она повернула обратно. Пусть Курт делает, что хочет, пусть кричит, пусть злится — нет никакого смысла еще раз выносить злые, презрительные слова Ольги. Если бы еще это могло к чему-нибудь привести, но ведь ничего, решительно ничего не выйдет из этого разговора. Она прошла несколько шагов и снова заколебалась. Что делать, как поступить? Уж лучше бы они убили Ольгу, как убили Олену. Не было бы всех этих хлопот и скандалов. Пуся оглянулась на хату, где жила сестра, сердце ее не-

приятно дрогнуло — из дверей кто-то вышел. Она зотопталась на снегу, словно пойманная на месте преступления, и искоса посмотрела. Нет, это была не Ольга, а ее хозяйка. Женщина стояла у дверей и, заслонив глаза от солнца, пристально всматривалась в даль. Потом она приоткрыла дверь в хату и что-то крикнула. Тотчас вокруг нее образовалась кучка людей, все они заслоняли глаза от ослепительного блеска снега и солнца и смотрели в одном направлении.

Федосья Кравчук тоже вышла, заметив движение на улице. Она взглянула туда, куда глядели все. Сердце у нее на минуту остановилось и вдруг заколотилось, бешено, стремительно, как язык набатного колокола. По дороге, медленно приближаясь к селу, шли люди. Они шли сомкнутыми рядами, на солнце поблескивали штыки.

— Немцы идут? — заговорили у хат.

— Мало их тут было, новых нам надо...

— Что они, жратву думают у нас найти?

— Это не немцы, — натянутым, как струна, срывающимся голосом сказала вдруг Банючиха. — Родные вы мои, да посмотрите же, это не немцы!

— С ума ты сошла, что ли, кто же, кроме них, может быть?

— Наши, боже милостивый, наши идут...

— Смотрите хорошенько, бабы, как же наши могут так идти? Среди бела дня, прямо по дороге?

— Мама, да ведь звезды на шапках, звезды! — тонким голоском крикнул Гриша Банюк.

— Что ты говоришь? Ты видишь, хорошо видишь?

Яркий блеск слепил глаза и мешал смотреть. Они отчаянно напрягали зрение, пытались разглядеть подходивших.

— Наши? Немцы?

— Какое там наши, — почудилось Гришутке... Смотрите, немцы стоят себе на постах и не думают стрелять...

— А Гриша верно говорит,— объявил вдруг Александр,— шапки наши...

— Наши?

— Только радоваться-то нечему, приглядитесь-ка, теперь видно.

Они умолкли. Да, теперь действительно было видно. По дороге шел отряд красноармейцев. Даже не шел, а тащился по снегу, а по сторонам двигались вооруженные немецкие конвоиры.

— Наших пленных ведут,— пронесся отчаянный шопот.

— Наших ведут...

На улице собиралось все больше народу. Толпа широко раскрытыми, полными ужаса глазами смотрела на приближавшуюся группу. Уже ясно было видно, что люди идут с трудом, с мучительными усилиями. Сопровождавшие их солдаты грубо покрикивали на них.

— Боже милостивый, и раненых ведут...

— Валенки у них забрали, босиком идут...

— Весь в крови, смотри, Соня...

Проходивший мимо немец свирепо заорал на толпившихся перед хатами людей, но они не обратили на него внимания и продолжали сосредоточенно глядеть на приближающееся шествие.

— Боже милостивый...

Те уже вошли в село. Теперь можно было зблизки рассмотреть измученные, смертельно бледные, посиневшие лица пленных. Красноармеец во втором ряду едва тащился, шатаясь, как пьяный.

— Эй, ты! — кричал на него конвоир, и раненый выпрямлялся, пытаясь итти, как другие. Кто-то из его товарищей осторожно поддержал его, когда он сильнее покачнулся. Но тотчас же на поддерживавшую руку обрушился внезапный и быстрый удар приклада. Рука безжизненно повисла вдоль туловища, как сломанная ветка.

— Боже милостивый...

Они с трудом волочили израненные босые ноги, оставляя на снегу кровавые следы. Они падали и тяжело поднимались, опираясь на руки. На них сыпались удары прикладами.

Пуся стояла и смотрела, как и все. Она увидела бледные, страшные лица с лихорадочно горящими глазами. Застывшую рыжую кровь на повязках, сделанных из каких-то грязных тряпок. Почерневшие, обмороженные ноги. Обычная бессмысленная улыбочка застыла на ее губах.

— Не смейся! — услышала она над самым ухом и в испуге отскочила. Это была Ольга. Со стиснутыми губами, со сжатыми кулаками, с бровями, сошедшимися на переносице, смотрела она на проходивших пленных. И вдруг сквозь красный туман, застилавший ее глаза, она разглядела узкое, бледное лицо сестры, блеск сережки над меховым воротником и улыбочку, приклеившуюся к накрашенным губам.

— Не смейся!

Пуся отступила. Перед самыми глазами она видела большие, расширенные от гнева глаза Ольги и ее дышащие гневом губы.

— Я не смеюсь, — ответила она испуганно.

— Смеешься, — сказала Ольга и изо всех сил ударила по этой застывшей бессмысленной улыбочке, по этому бледному лицу, по лицу офицерской любовницы. Пуся взвизгнула, как щенок, съежилась и вдруг, разразившись слезами, пустилась бегом домой, спотыкаясь, путаясь в полах длинной шубы, хватаясь руками за голову.

А те все шли. Вот они поровнялись с толпой. Лихорадочные, горящие взоры устремились на стоявших перед хатами женщин.

— Хлеба, — сказал один из них. Удар приклада обрушился на его голову. Но тотчас отозвался другой:

— Хлеба... Мы неделю не ели...

— Господи, господи милостивый,— простонала Банючиха.

И все бросились по избам, кинулись в чуланы, дрожащими руками доставали из узелков, из горшочков, из тайников за образами все, что у них еще оставалось из еды.

— Давай, давай, о боже милостивый, скорей, скорей же!..

Первая выскочила Банючиха. Не обращая внимания на конвой, она бросилась к рядам. В руках у нее была темная краюха хлеба, последняя горбушка, которую она прятала для детей.

— Прочь! — заорал немец, но она ничего не слышала и не видела. Она оттолкнула солдата и хотела сунуть хлеб раненому красноармейцу.

— Прочь! — еще раз крикнул солдат и с размаху ударил ее в живот.

Банючиха без стопа опустилась на снег. Немец ногой отбросил в сторону упавший хлеб. Горбушка отлетела далеко в ров. Один из исхудалых призраков рванулся за ней. Щелкнул выстрел. Пленный свалился на краю дороги.

Женщины даже не взглянули на потерявшую сознание Банючиху. Они бежали за пленными, стараясь бросить им, сунуть в руку ломоть хлеба, испеченную в золе лепешку. Из комендатуры высыпали солдаты.

— Прочь! — бешено орал фельдфебель. Они бросились на женщин, избивая их прикладами. Бабы, заслоня руками головы, падали на колени, пытались подбросить хлеб под ноги идущих. Один из пленных наклонился за ним. Снова загредел выстрел, и убитый свалился к ногам товарищей.

— Не пужно, граждане, не рискуйте собой понапрасну, не надо! — высоким срывающимся голосом, громко, на всю улицу сказал молоденький раненый, с трудомковылявший в последнем ряду.— Отойдите, женщины, отой-

дите, матери наши. Все равно они не дадут нам взять ни кусочка, зачем зря людям гибнуть?

Они и без него видели, что тут не поможешь. Двое убитых лежали на дороге. Банючиха с трудом поднималась с земли, а другие стояли с хлебом в руках и горестно глядели на красноармейцев, безнадежно смотрящих на хлеб.

— Саша! — окликнула Малючиха сына. — Тут ничего не сделаешь! Собери-ка ребят, надо наперерез бежать за поворот, бросить хлеб там, на дороге, и ходу! Немчуря не заметит, а нани, может, хоть кусок какой подберут.

Детей словно ветром сдуло с улицы. Женщины отошли к дверям своих хат. Они плакали, кусая концы головных платков, качали головами в безмолвном горе.

— Ну, как ты? — заботливо спрашивала Фрося Грохач, подавая воду Банючихе и растирая ей снегом виски.

Та присела и, закрыв глаза руками, разразилась коротким, мучительным рыданием.

— Что, очень больно?

— Нет, нет... Что ты, Фрося...

— Не плачь, ничего, полежишь — пройдет.

— Да что ты, глупая, разве я о том, потошило немного, пройдет, ничего не будет... Слушай, Фрося, я вот думаю, если Петр так... Слышишь, лучше пусть бы в первом бою погиб, пусть бы его бомба разорвала, пусть бы его танк задавил, слышишь?

Страстным, сдавленным голосом она шептала прямо девушке в лицо. Фрося сжала ее руку.

— Успокойся, успокойся...

— Слышишь? Если уж иначе нельзя, пускай лучше пулю себе в лоб пустит, гранатой себя взорвет, только бы не так, не так, не так!

— Ну, ясно... А ты встань-ка, я тебе помогу, а то замерзнешь тут...

Банючиха тяжело поднялась, опираясь на плечо девуш-

ки, и с трудом перешла в хату. Гриша большими испуганными глазами смотрел на мать. Она со стоном повалилась на кровать. У нее все болело, к горлу подступала тошнота. Но она не думала об этом.

— Гриша, поди сюда!

Мальчик подошел к кровати.

— Гриша, слышишь, что я тебе скажу?

— Слышу, да ведь вы еще ничего не говорите...

— Слушай, Гриша, если тебе когда-нибудь, не дай бог, придется выбирать — смерть или немецкий плен, — выбирай смерть!

— Да что ты, спятила? — возмутилась Фрося. — Мальчику пять лет...

Перепуганный мальчик плакал.

— Что ты пугаешь ребенка? Ничего этого он еще не понимает, а пока он подрастет, и немцев не будет...

Банючиха задумалась.

— А может, и правда? Какая же справедливость была бы на свете, если бы за эту войну все собачье семя не вырезали бы до последнего!

Она застонала, хватаясь за живот.

— Ой, Фроська, меня сейчас вырвет...

— Оно и лучше, пусть вырвет, — сейчас я тебе холодной воды принесу.

Она суетилась, мочила в ведре полотняные тряпки. Банючиха, следя за ней, тихонько стонала. Вдруг ей бросилось в глаза заплаканное лицо сына.

— А ты тут чего еще? Ишь какой нежный... Это он в Петра, должно быть...

— Что ты говоришь, он ведь маленький, ты его напугала, вот он и поплакал... Что ж тут такого? А от мужа-то чего тебе надо?

— Ничего мне не надо... А только у меня одно в голове сидит: хватит ли у него ума в случае чего с собой-то покончить?

— Уж он сделает, как надо.

— А я вот боюсь... Он у меня, знаешь, какой: сам ни до чего не додумается, всегда приходится ему советовать, что и как... А кто ж ему, бедняге, теперь посоветует?

— Теперь он в армии, ему дадут приказ, и все,— сказала Фрося, прикладывая мокрую тряпку к живому женщины, на котором широким синим пятном расплылся след приклада.

— Приказ, это верно,— сказала Банючиха.

— Иди-ка, Гриша, я тебя умою, смотри, как ты вывоzilся! А плакать не надо. Видишь, мама лежит, немец ее прикладом ударил, а она не плачет.

Мальчик стоял, глядя большими глазами на мать. Пальцем левой руки он ковырял в носу.

— А ты, сынок, вынул бы палец из носу,— рассердилась Банючиха.— Отец красноармеец, а он в носу ковыряет! — Она снова застонала.— Ох, Фрося, ни кусочка, ни корочки хлеба ни один не получил... Перемерут несчастные, наверняка перемерут... Подумать только, по своему селу шли, а никто им помочь не смог, никто ни крошки дать не смог, ни накормить, ни напоить... На своей земле погибать приходится... И куда это их потащили?

— Говорят, в Рудах есть лагерь. Туда, наверно.

— Где там до Руд дойти! Они еле на ногах держатся. До Руд-то сколько верст будет? Нет, не дойдут, да и по дороге их поубивают, как тех двоих...

— Ребятишки побежали за околицу разбросать хлеб по дороге. Будут проходить, пособирают; может, немцы не заметят, не догадаются...

— Только бы они разбросали как следует... Посреди дороги,— наши-то впереди идут, конвоиры потем...

— Уж ребята там сообразят, как лучше,— успокаивала ее Фрося.— Ребята у нас — золото! Сами знаете.

Банючиха молча кивнула головой. Ей вдруг захотелось спать, по телу разлилась мучительная слабость, ее невыносимо тошнило. Но больше всего мучило воспоминание

о лихорадочных, глухо запавших глазах пленного красноармейца, о быстром, жадном движении, когда он протянулся за хлебом, которого так и не получил.

— Ох...

— Больно? — забеспокоилась Фрося.

— Нет, нет... Хоть бы заснуть...

— Спи, лучше всего поспать, тогда пройдет, — сказала девушка.

Банючиха закрыла глаза. Но и перед закрытыми глазами стояло посеревшее молодое лицо, отмеченное печатью смерти, с выбившейся из-под шапки прядью волос; какими безумными глазами глядел он на кусок черного хлеба! Она поняла, что никогда в жизни не забудет этих бредущих по снегу, падающих в снег пленных и молодого красноармейца, которому она не могла подать кусок хлеба.

А в это время задами пробирались по глубокому снегу посланные с хлебом мальчишки. Возле хат и сараев было еще полегче, но в открытом поле снег оказался неожиданно глубоким. Оська Чечор сразу провалился по самые плечи.

— Сашка! Сашка!

— Не ори, а то немцы услышат, прибегут. Ты еще мал, иди назад!

— Не могу...

— Выкарабкивайся как-нибудь! Ну, ребята, скорей, скорей!

Земля здесь была неровная, вся в пригорках, ямах, бороздах. Сверху все было засыпано снегом, занесено вьюгой. Ямы были настоящими западнями. Ноги неожиданно проваливались на ровном с виду месте. Сверху снег смерзся в твердую кору, и минутами по нему можно было идти, но вдруг он ломался, как лед на реке, с хрустом, с грохотом, и мальчишки безнадежно увязали в глубоких сугробах. Помогать себе руками было невозможно, руки были за-

вяты лепешками, хлебом, картофелем. А снег был колючий, он ранил, как битое стекло. Ребята стали один за другим отставать. Но Саша и Савка Локут стойко держались впереди. Для того чтобы добраться до места, где дорога сворачивала большим полукругом, надо было миновать село и пересечь широкую равнину.

— Скорей, скорей,— подгонял Саша. Он тяжело дышал, он обливался потом. Струйки пота стекали за воротник, ползли по спине. Пот заливал глаза, в боку кололо до дурноты. Ноги увязали, как в илестом речном дне, как в затягивающей трясине. Несколько раз он падал, поднимался, ранил себе пальцы об острые пластинки снега. Из пальцев сочилась кровь, и снег быстро розовел от нее. К счастью, он взял хлеб, не как другие, прямо в руки, а успел схватить полотняную сумку, в которой раньше, когда еще немцев не было, носил книги в школу. Теперь она пригодилась. Хлеб лежал в сумке, и руки были свободны, можно было опираться на них, выбираться из сугробов. Савка, высунув язык, торопился за ним. Ити по проложенному уже следу было легче, иначе Савка тоже отстал бы, он был ростом меньше и слабее. Снежная равнина казалась бесконечной. А ведь весной здесь пасся скот, и этот дуг был вовсе не так велик, можно было быстро пробежать его из конца в конец по мягкой, невысокой траве. Они хорошо помнили это пастбище, ведь они играли здесь с того времени, как начали ходить. Но теперь оно казалось безграничной пустыней, стало чужим и незнакомым. Куда девались пригорки, которые они сотни раз топтали босыми ногами, канавки, через которые они прыгали?

Под снегом вздувались какие-то огромные горбы, внезапно обнаруживались коварные и злые расселины. Напрасно они пытались различить под снегом, где ровная поверхность, где ров, где углубление. Снег молчал, снег не выдавал тайн. Дети брели и проваливались, снег проглатывал мальчиков по пояс, по подмышки,

руки ушибались о края ям, мучительной дороге не было конца.

— Скорей,— задыхался Саша, лоя ртом воздух, проваливаясь в ямы, выкарабкиваясь. отплеывая набившийся в рот снег.

Висевшая на боку сумка промокла и становилась все тяжелее, но это неважно, они съедят и мокрую лепешку, это ничего. Ноги тоже промокли, насквозь промокли штаны, и когда ему удавалось благополучно пройти несколько шагов по поверхности снежного покрова, мокрая одежда замерзала, хищные когти мороза добирались до самых костей. Саша уже ничего не видел, перед глазами у него мелькали красные и черные круги, кровь стучала в висках, казалось, вот сейчас она разорвет жилы и брызнет на снег.

— Скорей,— хрипел он, и это подгоняло Савку, как удар кнута, хотя Саша уже забыл, что за ним кто-то идет. Он подгонял сам себя, чувствуя, что вот-вот упадет и больше не встанет.

Савка остался далеко позади. Но Саша знал, что он должен, должен добраться до дороги, что он должен оставить там лепешки. Это была последняя возможность доставить хоть чуточку пищи конвоируемым пленным. Если он не успеет, их погонят дальше через сожженную Леваневку в Руды, в концентрационный лагерь, где — люди шопотом говорили об этом — за колючей проволокой сотнями мрут пленные, мрут без куска хлеба, без ложки горячего. Между лагерем в Рудах и пленными красноармейцами был теперь один он, Саша, и мальчику казалось, что его подгоревшие в золе лепешки могут избавить от голодной смерти, спасти их всех.

Еще один небольшой холмик, и—все. Скорей, скорей,— подгонял себя Саша, чувствуя, что еле вытаскивает ноги из снега, еле плетется вперед. Болел бок, в голове гудело, во рту он чувствовал неприятный приторный вкус крови. Скорей, скорей! Он с головой провалился и неловко вы-

бирался, махая руками, словно утопающий. Почти на четвереньках вполз он на последний пригорок. Здесь, уж должна быть дорога.

Да, дорога проходила совсем рядом. А по дороге немцы вели красноармейцев. Саше казалось, что это сон. Он не хотел, не мог верить. Но это было так. Саша не поднялся — он лежал на снегу, опершись на локти, как вползал на пригорок. А они проходили мимо. Раненые шатались, как пьяные, немцы орали, сзади кто-то упал, его поднимали ударами прикладов, пинками, ругательствами. Саша смотрел, а они все шли, проходили мимо. Он опоздал. Опоздал на две-три минуты. Перед красноармейцами растянулась пустая белая дорога, и на ней лежал один снег, снег и больше ничего. Лепешки остались в сумке, мокрые, тяжелые. Они лежали в полотняной сумке, тут же, в десяти шагах от пленных, а они их не получают из-за того, что он опоздал на две-три минуты, что он недостаточно быстро бежал, что медленно поднимался, что он не смог, не сумел сделать, что следовало. Он подумал о Мишке — да, Мишка бы успел, Мишка бы добежал. А теперь их погонят в Руды, за колючую проволоку, и они будут там умирать на морозе от холода и голода, потому что он...

Вот уже последний ряд. Прошли. Удаляются, исчезают. Вот их уже скрыла белизна дороги, равнины необъятного снежного пространства. Саша опустил голову в снег и расплакался горькими детскими слезами. Слезы капали в снег, из носа текло, лицо было мокрое. Ледяной холод сковал мокрые ноги, в боку невыносимо кололо. Нет, он не мог, не хотел подняться. Они прошли, прошли, он опоздал на две-три минуты...

Ох, как холодно, как страшно холодно! Саша плакал по ним, идущим в этот мороз по дороге. По Мишке, похороненному в сених, по батьке, что ушел к партизанам, и прежде всего по самому себе, что не смог, не сумел, ничего не сделал...

Ему становилось все холоднее. И пусть, и пусть... Ему вспомнился рассказ дедушки Евдокима о том, как когда-то давно белые кочевали в лесочке и замерзли, все замерзли. Пришли красные, кричат: руки вверх! А те сидят — и ничего. Ни один не шелохнется. И только Евдоким понял, что случилось, и подошел. А они сидят, как живые, и все замерзшие, как камень. Только сюда-то никто не дойдет, кому придет в голову искать его здесь? Он будет лежать, лежать, лежать...

— Сашка, вставай, вставай!..

Он вздрогнул и еще крепче прильнул лицом к снегу.

— Что ты, сынок, вставай, мороз-то какой... Не надо плакать, не надо!

Мать присела возле него и ласково гладила его по плечу.

— Ты же мокрый весь... Вставай, пойдем. И мне холодно, вся юбка намочла, пока я добралась, трудно пройти... Ну, вставай, вставай!..

Она насильно подняла его голову. На нее взглянули залитые слезами, опухшие глаза.

— Ничего не поделаешь, не удалось,— сказала она грустно.

— Опоздал,— прошептал Саша прерывающимся от рыданий голосом.

— Что ж, сынок, не удалось. Так надуло, намело, что я еле добралась до тебя. Идем, надо домой идти...— Она тащила его за руку. Саша вставал медленно, неохотно.

— Раз не удалось, другой раз удастся... Не сразу мы сообразили, как оно выйдет... В другой раз, если наших поведут—не дожидаться, далеко никуда не бегать, всем—по избам, а все, что надо, на дороге оставить. А то сегодня сбежались, подняли крик, ну, ничего и не вышло... Да кто же знал-то?

Саша, глядя в землю, медленно шел рядом.

— Прибежал Савка, чуть живой, я его спрашиваю, где

ты, а он говорит, что ты в снегу лежишь... Я все бросила и побежала... А ты не плачь, не плачь, выше головы не прыгнешь... Вон какие ямы... Давно, давно такой зимы не было...

Ей самой было трудно идти, но она старалась разговаривать и помогать идти сыну.

— А ты за мной, за мной, так легче...

Ему подумалось, что теперь они идут по тропинке, которую проложили сначала он с Савкой, потом по ней прошел обратно Савка, потом мать, и теперь это уж совсем не то. А мать говорит, что трудно, что дорога тяжелая. Но хотя тропинка была уже проложена, он едва тащился. Сапоги весили чуть не по сто кило, руки, голова были тяжелые, как чугун, все кости болели, он чувствовал каждую косточку в ногах, руках, спине, каждая болела острой, назойливой болью.

Когда они вышли на дорогу, он зашатался и чуть не упал. Материнские руки подхватили его.

— Что с тобой, сынок?

— Н-ничего,— пролепетал он, но весь мир плясал перед его глазами. Голова кружилась.

Мать наклонилась и взяла его на руки.

— Что вы, мама! — запротестовал было он, но вдруг, почувствовав под головой ее руку, моментально уснул. Она улыбнулась сонному личику.

— Что это, кума? Что-нибудь случилось? — забеспокоилась идущая с вязанкой хворосту, заплаканная Терпилиха.

— Нет... Сморило мальчонку, до самой дороги бежал по этим ямам, по выбоинам...

— Успел?

— Нет, куда там... Тут взрослому пройти трудно...

Запыхавшись, она замедлила шаги.

— Тяжело вам...

— Конечно, тяжело... Ему ведь уже девятый год пошел,— сказала она и крепче прижала к себе спящего

сына.— Вот как уснул, словно в постели. Помоги-ка, Горпина, а то мне дверь в сени не отворить...

Женщина подошла и отодвинула засов. Из хаты повеяло теплом.

— Мама! — крикнула Зина со слезами в голосе.— Что с Сашей?

— Ничего, ничего. Саша спит. Не кричи, не надо будить его.

— Спит? — удивились дети. Они обступили ее и смотрели, как она кладет мальчика на перину, как осторожно стаскивает с него сапоги, мокрые штаны, как растирает его сухой полотняной тряпкой.

— А у вас вся юбка мокрая,— сказала Соня.— Куда это вы ходили?

— Ничего, ничего, сейчас все высохнет. Поставь-ка его сапоги к печке.

Зина, сопя, потащила сапоги.

— А в сумке что?

— Вынь, там лепешки.

— Мокрые какие.

— Ничего, съедите и такие.

— И мне можно? — спросила Зина, искоса глядя на вынутые из сумки отсыревшие коричневые комки.

— Ну да, можно, это же ваш обед. Соня, раздели-ка. И Саше оставьте, проснется, есть захочет.

Зина подошла к ней, держа в кулаке кусок мокрой лепешки.

— Это вам, мама...

— Не надо, доченька, я не голодная...

Она смотрела, как дети едят, старательно подбирая со скамьи каждый кусочек, каждую крошку. Лепешки эти не дошли до тех, до людей, которых гнали на смерть. У нее сдавило горло. Светлые и темные головки, склонившиеся над лепешками, маленькие пальчики, тщательно подбирающие крошки... Не успел Саша, не успел...

Мальчик дышал спокойно, ровно. Щеки его порозовели. А Миши нет — отозвалось мучительной болью в сердце.

И вдруг она почувствовала, что уже потом, после смерти сына, случилось еще что-то худшее, еще более страшное. Перед ее глазами снова возникла толпа подгоняемых ударами прикладов пленных, ужасные, исхудавшие лица, горящие от лихорадки глаза в черных глазницах, окровавленные ноги на снегу, худые пальцы, как когти, тянущиеся к хлебу, близкому и недоступному, и эти двое убитых на дороге... Образ Миши, лежащего на столе с простреленной грудью, побледнел, смягчился перед этой второй картиной.

Она закрыла глаза руками. На кровати спит мальчик, дети едят лепешки, ребятишки Чечорихи старательно подбирают крошки со скамьи. Но что будет, что еще может случиться, когда каждый день несет с собой все более и более черные часы? Где теперь Платон? Увидит ли она его еще хоть раз? Миша под землей в сених, Платон неизвестно где, может, затравлен, как собака, может, уже мертв, засыпан снегом... Олена, молодой Левонюк на виселице, все, все. И как поверить, что прошел только месяц, что прожит всего только один месяц, когда, кажется, целая жизнь прошла, пробежали годы, много, много лет, столько несчастья и ужаса принесли они с собой. «Месяц!» — изумилась она. Бывало, проходили месяцы сева, сенокоса, уборки хлебов, льна и выкапыванья картофеля, и все эти месяцы, тихие, со спокойной радостью, проходили один за другим, текли, сливались в годы, проходили не приметно. А теперь всего один месяц — и этот месяц заключал в себе больше, чем вся жизнь, лег на нее огромной тяжестью и оставил после себя раны и рубцы, которые никогда не заживут в памяти, которые будут болеть вечно...

Сана вдруг проснулся. Он с изумлением убедился, что лежит в хате. Как он сюда попал? Он не помнил, как мать взяла его на руки, не помнил, как заснул. С минуту он

водил глазами по потолку. Это был потолок своей хаты. У печки топеньким плаксивым голоском что-то лепетала Зина. Он отвел глаза и увидел сгорбившуюся на лавке мать. Она неподвижно, упорно смотрела в одну точку. Саша вытянул ноги под одеялом, наслаждаясь теплом. У него немного болей и ныли пальцы, но во всем теле чувствовалась приятная усталость, он с наслаждением ощущал прикосновение теплого одеяла и мягкую подушку под головой.

— Что вы так задумались, мама?

Она вздрогнула и быстро обернулась к нему.

— Ты уже не спишь?

— Нет, мне уже неохота спать.

— А ты полежи, полежи, прогрейся как следует... Намерзся, промок...

Она поправила соскользнувшее с мальчика одеяло и словно только сейчас услышала его вопрос.

— А я, сынок, думала о дне, когда наши придут...

Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами.

— Сюда к нам, в село?

— Ну да, к нам...

— И в Руды придут? — шепотом спросил он, словно доверяя ей тайну.

— И в Руды, а как же, и в Руды... Во все места, до самого Днепра и за Днепр, во все села и города... До границы и дальше, всюду, где только люди под немцем умирают, во все края и земли.

— И батька домой придет?

— Придет, сынок... Выйдут из лесу партизаны, вернутся к себе домой.

— И все будет, как раньше?

— И все будет, как раньше,— повторила она.— Да, да, сынок, еще лучше будет, чем раньше.

Она умолкла и подумала, возможно ли, что когда-нибудь снова будет, как раньше? Что хата обрастет кругом подсолнухами, в саду зацветут мальвы, те крупные,

розовые, семена которых Лйда привезла из города; дети с веселым щебетом побегут в школу, а Зина летом пойдет в детский сад, где мелюзга будет водить веселые хорыводы? И в хате будет много хлеба, и молоко в глиняных пшечиках, а по вечерам все будут сходиться в клуб, читать газеты.

И все это будет. Несмотря ни на что, несмотря на все нанесенные селу раны. Не побежит уже в школу Мишутка, не запоет в поле Митя Левонюк, не сядет на трактор Олена, девочки не будут засматриваться на Васю Кравчука, но жизнь пойдет своим чередом, мощная, цветущая. С каждым годом будет выше колоситься пшеница на полях, будут давать все более тяжелые плоды молодые фруктовые деревья, все полнее станут наливать молоком ведра колхозные коровы, все больше молодежи поедет учиться в город. И только одно нужно — продержаться, перетерпеть, не поддаться, ни за что на свете не поддаться...

В хате порозовело. Солнце заходило, расцветивая небо всеми красками зари. Прихотливые листья на замерзших стеклах зацвели розами, заблестели золотом. Небо быстро угасало, тени сгущались, и не успели еще померкнуть краски на горизонте, как взнесся месяц, холодный, как лед, серебряный, как лед, и отправился в свой далекий путь. Свет заката перелился в свет месяца, и на небе выросли светящиеся столбы, искрящиеся, застывшие, неподвижные. Но словно тьма непроглядная легла в этот вечер на все сердца, тьма еще более глубокая и тяжкая, чем все, что было пережито до сих пор. Шаги на дороге не утихли — по селу шли пленные, шествие призраков, худых, черных, сжигаемых лихорадкой и голодом. На снегу оставался кровавый след их босых, израненных ног. Между плетнями посылось, не давая спать, эхо охрипшей, страшной мольбы: хлеба! В глаза людей глядели глубоко ввалившиеся, горящие безумием глаза. Глухо били по

сердцу удары прикладов, хлестали солдатские окрики, подгонявшие тех.

Гей, заплакали хлопці-молоді.
В турецькій неволі, в кайданах...

Когда это было? Как это было? Турецкая неволя и турецкие галеры в далеких морях, и кривая турецкая сабля над головой. Нет, нет, все это было не то. Нет, это даже не колья от Нежина до Киева, на которые сажал мужиков пан Потоцкий. Даже не давным-давно забытые татарские набеги на Украину. Больше крови, огня на украинской земле нынче, больше смертей и слез на украинской земле, больше горя на украинской земле, чем во все те времена, с которых пелось в песнях, о которых осталась на веки веков память в народе.

Какая песня расскажет все, что происходит по ту и по эту сторону Днепра, что делается по всей необъятной украинской земле? Какая песня передаст страшные, черные дни, что разразились над этой землей, нагрянули, как мор, как потоп, как злой вихрь, разметавший гнезда? Какая песня впитает в себя и потоки крови, и скрип виселиц, и стон детей, и смерть тысяч и тысяч, и черный дым над селами, и бесконечные могилы, и этих юношей, погибающих в Рудах и в сотне других мест, за колючей проволокой лагерей? И кто, когда захочет петь такую песню, лесно, навевающую холод ужаса?

«Нет, нет,— думали бабы, пытаюсь отогнать от себя образ идущих по дороге пленных.— Не будет такой песни. Засучим рукава и сызнова построим дома и хаты. Засеем землю пшеницей, чтобы зашумело необъятное поле, волнуясь, как море, на ветру. Прикроем окровавленную землю золотом пшеницы, солницами подсолнухов, смеющейся белизной цветущих садов. Голубым льном, белорозовой гречей, лесом высокой конопли, чтобы не оста-

лось и следа немецкой ноги над реками, плывущими в далекое Черное море».

Село охватывал сон, тяжелый, тревожный, не дающий отдыха глазам, не дающий покоя сердцу, не приносящий спокойствия. Малычиха то и дело вставала, подходила к детям. Саша метался во сне, выкрикивая непонятные слова.

— Сынок, сынок...

— Что? — в испуге просыпался он.

— Проснись, проснись, видно, тебе тяжкий сон приснился.

Он смотрел на мать непонимающими глазами, поворачивался на другой бок и моментально засыпал. И снова его мучили кошмары, тяжело наваливавшиеся на грудь, пазойливые, мучительные.

Банючиха стонала, ворочаясь в постели. Все тело ныло, сосало в животе. Но спать мешало не это, а худое, давно не бритое лицо и горящие глаза под окровавленной тряпкой.

...Кроме Грохача никто из заложников не спал. Малаша продолжала прясть мучительную нить своих размышлений, упорную, безнадежную. Прошел еще один день, миновал еще один день — и ничто не изменилось. Сухие губы потрескались от жажды, перед глазами вставал тот день. Ну да, ну да, так оно и было... Там в селе что-то происходило, там жили и умирали люди — днем слышны были выстрелы на улице, не попусту же стреляли немцы — там умирали люди, а она жива. Жива, сидит тут, за толстыми бревнами стен, растит в себе немецкий помет, немецкого байстрюка...

Евдоким вздыхал и ворочался на своем месте у степи.

— Что, уснуть не можешь? — спросила Чечориха.

— Да... не до сна мне... Много ли тут напишь! И вам ведь не спится...

— А я вот все думаю да передумываю, в кого это они стреляли? Где-то близко стреляли...

— Не поймешь, то ли близко, то ли далеко... Из-за стены может и показаться... По-моему, не ближе, чем за церковью.

— Кто знает...

— Выйдем, узнаем,— тихо сказала Ольга Паланчук.

— Верно, верно,— подтвердила Чечориха.

Девушке, видимо, очень хотелось услышать подтверждение, что они действительно выйдут, что их выведут отсюда не на площадь, не под выстрелы немецкого взвода, а на свободу, в село, где можно будет разговаривать с людьми, как разговаривают свободные люди со свободными людьми. Она вздохнула.

— А вы бы нам, дедушка, рассказали что-нибудь, раз уж все равно не спится. Время быстрее пройдет.

— Что ж я тебе расскажу?..— раздумывал он.— Да и рассказывать не хочется...

— Спойте,— попросила Ольга.

— Что ты, что ты, здесь петь!

— Что ж тут такого, вы потихонечку, они не услышат. Он кивал в темноте седой головой.

— Ну что ж, спою... Старинная песня, мой дед ее пел... А он ее тоже от своего деда знал. Древняя песня, древняя, как сама Украина.

Дрожащим, старческим голосом он запел:

Ой, нема, нема правди на світі,
Скрізь неправда панує
Ой, яка душа хоче добре жити,
Хай за правду воює...

— Ну куда мне петь, это бандуристы с бандурой пели, давно-давно.

— А вы спойте хоть без бандуры... Не так тоскливо будет...

Ой, пошле господь та добра тому,
Хто за правду воює...

— Ой, пошле господь та добра тому, хто за правду воює,— шопотом повторила Чечориха.

Старик дрожащим голосом напевал старинную песню, песню подъяремного народа, родившуюся во мраке суровых дней, во тьме ночей, полных слез, во времена рабства и гнета. Забытую песню, что затихла, ушла, замолкла в те дни, когда зацвела подсолнухами свободная Украина и новая жизнь запела новые песни.

Но теперь, во мраке тесной комнаты, в селе, где качался на виселице труп шестнадцатилетнего мальчика, где в яру лежали убитые, где вода несла подо льдом окровавленное женское тело, где смерть раскинула свою паутину над всеми хатами, старинная песня зазвучала той же жалобой, той же тоской, какая питала ее сотни лет.

Ой, пошле господь та добра тому,
Хто за правду воює...

Старческий голос умолк, затих. Подступала дремота, утомленные головы тихо склонялись на грудь.

IX

Федосья Кравчук проснулась внезапно, точно кто толкнул ее, и села в постели. Сердце билось так стремительно, будто хотело вырваться из груди. Она ловила ртом воздух и прислушивалась.

Что же ее разбудило? И когда это она успела уснуть? Ей казалось, что она не сможет, совсем не сможет уснуть, и вдруг получилось так, что она крепко спала. Что-то непонятное вырвало ее из глубокого сна. Что?

Это не был стук — всюду царила глубокая тишина. Даже храп немца не нарушал молчания ночи — видимо, Вернер допоздна засиделся, как часто случалось, в комендатуре и еще не вернулся. И все же она не сама проснулась:

Что-то ее разбудило, что-то внезапно прервало ее сон. Потому и колотилось так испуганное сердце.

Она не ложилась, напряженно прислушиваясь. И в хате и за окном стояла полная тишина. Еще с вечера ветер утих. Ночь снова была ясная, прозрачная. По небу плыл месяц в светящейся радужной кайме, и на полу резко выделялась тень оконной рамы. Герань в горшочке казалась совсем черной на фоне белых, покрытых морозным инеем стекол.

И вдруг за окном раздался шорох. Будто заглушенный стон, оборвавшийся хрип, силою вбитый обратно в горло крик. Федосья босиком соскочила на пол и сразу очутилась в сенях. Дрожащими руками она искала засов, но он не был задвинут. Вернер, видимо, действительно еще не пришел. Он никогда не забывал тщательно запереть за собой дверь.

Она отворила дверь. Мелькнули черные тени.

— Кто здесь?

Спрашивала не она. Она-то знала, знала с первого момента, когда очнулась от сна, когда сдерживала руками бешено колотящееся сердце.

— Это я, хозяйка,— ответила она шопотом.— Тихонько, ребята, его нет...

Они были уже в сенях. Она узнала маленького разведчика.

— Не пришел еще, должно быть, в комендатуре сидит.

— Ну, так нечего нам и заходить. В комендатуру, ребята!

— Погодите, погодите,— удерживала их Федосья,— она-то ведь здесь.

— Кто она? Кто такая? — торопился командир.

— Немцева любовница.

— Ну, станем мы тут с бабами возиться! Утром посмотрим, что делать с немкой!

— Она не немка, она наша,— сурово сказала Федосья.

— Вон как? Ну, тогда дело другое, где же она?

— Спит в комнате.

Лейтенант недовольно поморщился.

— Что ж, посмотрим... Свет какой-нибудь можете зажечь?

— Часовой увидит.

— Часового уж нет, мать.

— Ну вот и ладно. Так я зажгу лампочку.

Дрожащими руками она искала спички.

Пришли, пришли, наконец-то она дождалась!

Маленький разведчик подал ей коробку спичек. Она зажгла лампу, привернув фитиль.

— В комендатуре пятеро наших заперты, заложники...

— Не беспокойся, мать, наши уже там, у комендатуры. Уж они их выпустят. Хотели мы потихоньку коменданта убрать...

— Что ты скажешь, не пришел сегодня. Работа у них, видать, спешная.

Осторожно, чтобы не скрипнуть, она открыла дверь. Красноармейцы, стараясь не стучать сапогами, шли за ней. Федосья, высоко подняв лампу, осветила кровать.

Пуся проснулась и, уверенная, что пришел Курт, спросонья что-то пробормотала. Но никто не ответил, и она обернулась, откинув волосы с лица.

Лейтенант внезапным движением вырвал из рук хозяйки лампу и шагнул вперед.

— Кто это? — спросил он страшным голосом.

— Комендантская любовница, наша, из местечка, — объяснила удивленная Федосья.

Пуся не отрывала круглых, полных ужаса глаз от человека с лампой. Голубая ночная сорочка соскользнула с ее плеча, обнажив маленькую грудь. Она поджала под себя ноги и едва заметным, подсознательным движением отодвигалась, отодвигалась в угол кровати, словно хотела спрятаться, скрыться, исчезнуть в щели стены. Лейтенант задрожал. В свете лампы блеснули покрытые красным

лаком ногти, на мгновение сверкнули треугольные зубы между побелевшими, как бумага, губами.

— Сережа...

Шопот был тише шелеста ветра в листьях, но Сергей услышал, вернее, узнал свое имя по движению губ. Он дрожал. Пуся, словно защищаясь, выставила вперед руку, маленькую, слабую руку с погтями, словно обогретыми кровью. В ее круглых глазах отражался ужас. Кровать показалась огромной-огромной, она пряталась в одном углу ее, как маленькая куколка, с обнаженной грудью, выглядывавшей из голубого шелка, с крохотными ногами под оборками сорочки.

Где-то снаружи грянул выстрел.

— У комендатуры, — сказала Федосья.

Но в ту же минуту зацелкали выстрелы и в другой стороне, и в третьей. Пальба раздавалась повсюду.

Сергей поднял револьвер. Не моргнув, взглянул в знакомые черные глаза. Щелкнул выстрел. Пуся дрогнула. Губы полуоткрылись, блеснул ряд острых, треугольных зубов. Круглые глаза еще более расширились и, остеклянев, застыли.

— К комендатуре! — скомандовал Сергей, и они, спотыкаясь о порог, о ведра в кухне, выбежали на серебряную, искрящуюся от луны улицу.

В селе кипела борьба. Первый выстрел, который они услышали в хате, был сделан рядовым Завясом, из отряда, который должен был захватить неприятельскую батарею.

В то время как Сергей со своими подкрадывался к Федосьиной избе, чтобы застигнуть во сне коменданта, те ползли в снегу по склону небольшого пригорка, к церкви. Невидимые в своих белых халатах, они ползли по снегу, прячась в тени хат, прокрадываясь по рвам. Впереди, напрягая зрение, полз сержант Сердюк. Так они благополучно доползли до самой батареи. Темные дула орудий четко выделялись на фоне снега и неба. Молчаливые

чудовищные пасти торчали высоко над головами ползущих. Три солдата, разговаривая вполголоса, сидели у орудий. Вдоль батареи мерными шагами прохаживался часовой. Снег поскрипывал под его ногами.

Сердюк, затаив дыхание, ждал. Часовой повернул у самого рва. Сержант увидел его узкую спину, торчавший над головой штык. Он бесшумно вылез из рва и внезапно прыгнул на немца. Оба покатались в снег. Сердюк сдавил горло противника, прежде чем тот успел издать стон. Но орудийная прислуга заметила внезапное исчезновение своего товарища.

— Эй, Ганс! — беспокойно позвал один. И как раз в эту минуту кто-то из красноармейцев неосторожно придавил сухую ветку. Она предательски треснула. Винтовки орудийной прислуги без команды вскинулись, и вот тогда-то Завяс не выдержал и выстрелил в первого с краю. Немец упал навзничь. Дальнейшее произошло так быстро, что они сами были ошеломлены: оказалось, что при орудиях больше никого нет, что батарея в их руках. Одновременно загремели выстрелы и со стороны дороги, там, где, согласно плану, помещалась немецкая комендатура.

— Бегом, ребята! — скомандовал Сердюк, но в ту же минуту перед ним выросли черные тени.

Немцы, видимо, уже поняли, что нападающих немного, и бежали открыто, не пригибаясь. Загремели выстрелы, и Сердюк упал на колени, почувствовав внезапную боль в правой ноге.

— Что случилось?

— Ничего, ничего! А ну по врагу, залпом!

Один из бежавших свалился с ног, но это не задержало остальных. Автоматы были у всех, и залпы слились в немолкаемый грохот.

— Ложись, ребята, бей с земли!

Они припали за орудиями, беря на мушку темные фигуры, четко вырисовывавшиеся на снегу. Сердюк тщательно целился, чтобы не тратить зря патронов. Вдруг он почув-

ствовал страшный холод в лице и подумал, что это от приклада автоматической винтовки. Стыл лоб, нос, деревянные щеки.

Заряжая винтовку, он глянул вниз и увидел на снегу большую черную лужу.

— Бей их! Залпами бейте!

Что же это за лужа, в которую он попал коленом? Брюки на колейях совсем промокли. И это было странно в такой мороз. Будто кто водой полил.

Немцы лежали теперь по другую сторону площади, в придорожном рву, и равномерно, непрерывно стреляли. Сердюк приподнял голову над снежным холмиком, который защищал его лицо, и оценил положение. Такая стрельба из-за пушек в ров и изо рва в пушки могла продолжаться бесконечно. А выстрелы гремели по всему селу, и неизвестно, как там идут дела. Его отрядик в пять человек и сам он могли там очень пригодиться.

— Ну, ребята, долго нам с ними возиться? Ура! За родину, за Сталина!

Они вскочили, как один. Пригибаясь на бегу, рванулись в грохот автоматов, в пулеметные очереди, как жала, выставив вперед штыки. В несколько прыжков они добежали до рва и сверху — прямо на обалдевших, ничего не понимавших немцев! Со всего размаха, со всего плеча. Придорожный ров умолк. Трупы немцев темными пятнами валялись на снегу, странно маленькие, съживившиеся и жалкие.

— Теперь куда? — запыхавшимся голосом спросил Заявас.

Но Сердюк не отвечал. Они с удивлением оглянулись.

— Товарищ Сердюк, где вы?

— Что случилось? — недоверчиво спрашивал светлоглазый Алексей, ближайший друг Сердюка.

— Да он бежал с нами или не бежал?

— С ума ты сошел, что ли, конечно, бежал!

— А куда же он девался?

— Здесь он лежит, здесь! — запыхавшись, крикнул самый младший из всех, Ваня.

Алексей кинулся туда.

Сердюк лежал на полдороге между орудиями и рвом. Он широко раскинул руки. Одна рука крепко сжимала винтовку.

— Что случилось? — глухо прошептал Ваня.

Алексей взглянул на снег.

При лунном свете четко виднелась лужица крови и кровавый след от орудий до самого места, где лежал павший товарищ.

— Куда в него угодило?

Алексей молча показал пальцем. Стопа и часть голени лежали почти под прямым углом к остальной части ноги. Снег вокруг этого места превратился в черную лужу.

— Ногу ему прострелили, как ножом отрезана...

— Гляди-ка, и на чем это он бежал!

— Некогда смотреть! К комендатуре, ребята, там что-то жарко!

Они поспешно двинулись за Алексеем. Мороз резал, как ножом, спирал дыхание в груди.

Когда раздался первый выстрел, капитан Вернер спал на походной койке в комендатуре. Он ждал звонка из штаба и не мог пойти домой. Он лег одетый, прикрывшись шинелью. У другой стены крепко спал фельдфебель, в следующей комнате, как всегда, вповалку улеглись солдаты. Капитан ждал долго, но телефон молчал. Его раздражало и сопение, доносившееся из другой комнаты, раздражал храп фельдфебеля. Койка была жесткая и неудобная. Наконец он уснул. Его разбудил выстрел.

«Опять кто-то шатаётся по деревне», — раздраженно подумал он. Его сердило это новое доказательство бессилия немецких приказов.

Но почти моментально грянул второй выстрел, третий. Капитан стремительно сорвался с кровати.

— Заузе, вставайте!

Фельдфебель был уже на ногах. Его сон как рукой сняло. Послышался скрип шагов под окнами, и в комнату ворвались солдаты.

— Большевики в деревне!

— Запереть двери! Погасить свет! — скомандовал Вернер, и они бросились задвигать тяжелый засов, закладывая двери поперечными балками.

Комната, где висел телефон, была самая обширная и больше других годилась для обороны. Хотя Вернеру никогда не приходило в голову, что здесь действительно придется защищаться, все было подготовлено. Мощную дверь из толстых досок Вернер приказал обить жестью и укрепить запоры. Стены были из толстых бревен, на окнах крепкие ставни. Дом построен давно и предназначался, видимо, под склад или амбар. Та часть, где ночевали солдаты и сидели заложники, была пристроена позже, когда в доме разместились сельсовет, красный уголок и библиотека. Там стены были тоньше, и дверь запиралась просто на ключ. Но здесь можно было чувствовать себя, как в крепости.

— Открыть амбразуры!

Они мгновенно откатили лежавшие вдоль стен бревна, открыв бойницы. Здесь же рядами лежали мешки с песком, а у самого пола были вырезаны узкие щели. Солдаты припали к земле. Сквозь бойницы в теплую комнату хлынул холод, за клубился пар. Залаляли винтовки.

— Звони в штаб, звони скорей в штаб! Партизаны? — спросил Вернер запыхавшегося часового, который вставлял ленту в пулемет.

— Нет! Армия!

— Много их?

— Не знаю, стреляют отовсюду, видно, зашли со всех сторон.

Вернер выругался.

— Звони, звони!

— Господин капитан, телефон не работает...

Офицер подскочил к столу, но напрасно кричал в трубку и колотил кулаком по молчавшей коробке. Телефон был мертв.

— Перерезали, мерзавцы.

Он со злостью треснул кулаком по бесполезной коробке. Телефон с грохотом упал на пол. Он отпихнул его ногой в угол.

— Справимся сами! Внимание!

С улицы посыпались выстрелы, слышно было, как щелкают пули о толстые бревна стен. В соседней комнате в дверь грохали прикладами, но слышался только гул, дверь и не дрогнула.

— Колоти, колоти,— пробормотал капитан. В прочности дверей он был уверен.

* * *

Нападением на комендатуру руководил лейтенант Шалов. Не успели они выломать первую дверь и ворваться в дом, как прибежали бойцы, только что захватившие батарею.

— Где Сердюк?

— Сердюк погиб, батарея взята.

В первой комнате они нашли солдатские койки, беспорядочно разбросанные вещи и ни живой души.

— Ишь, гады, проснулись и заперлись в той комнате.

— Выкурим их и оттуда...

— Выйти! Будем брать снаружи!

Они рассыпались в цепь вокруг дома, но сразу поняли, что это своего рода крепость. Мощные бревна не поддавались пулям. От них откалывались небольшие щепки, но стены оставались целы. Резко лаяли пулеметы. В отверстиях вспыхивали голубоватые и красные огоньки.

Дом изрыгал смерть.

— Патронов они не жалеют,— пробормотал Шалов.

— Видно, подготовились к обороне, товарищ лейтенант...

По всему селу шла стрельба. Повидимому, отдельные отряды осаждали немцев на их постах. Но все заглушал грохот, доносившийся из укрепленного дома.

— Ну, ребята, надо кончать... До рассвета надо их взять, нечего тут возиться. Утром может случайно подойти ихняя часть, и все пропало...

Они залегли за холмиками, неровностями почвы, в канаве и старались меткими выстрелами разбить торчавшие из бойниц винтовки. Но огонь не затихал ни на минуту.

У Левонюков немцев захватили врасплох. Ворвавшиеся в хату бойцы застали их спящими. Солдаты в испуге вскакивали, хватали лежавшие у постелей винтовки, спотыкались о разбросанные сапоги, мешки.

— Ложись на землю! — крикнул Минченко перепуганной Левонюк.

Она послушно упала, стараясь втолкнуть под кровать свою младшенькую, Ганку. Но не успела еще она толком понять, что происходит, как в хате снова стало тихо. Бойцы выбежали, исчезли, как сон, на полу валялись трупы немцев в одном белье.

— Ну-ка, Васютка, помоги, надо выкинуть эту падаля из хаты, — все еще дрожа, сказала она сыну, и они вдвоем принялись вытаскивать трупы. Тяжело дыша, они ташили немцев за ноги. Васе было всего двенадцать лет, сама она была беременна.

— Потихоньку, потихоньку, куда торопишься? — кричала она на сына.

Но Вася знал, куда торопится. Ему не удалось вовремя выскользнуть за красноармейцами, и вот теперь мать задерживает его этой глупой работой. Там, на селе, идет пальба, раздаются крики, а ему приходится таскать за ноги убитых немцев, вместо того чтобы бежать туда и собственными глазами увидеть все, что там делается. А может, ему даже винтовку дадут? Кто знает, вдруг дадут?

Тишина, среди которой началось нападение на село, давно была нарушена. Теперь уже никто не крался, не полз за плетнями, люди уже не боялись, что тень, упавшая на дорогу, выдаст их.

— Помните, ребята, ни одна живая душа не должна ускользнуть, ни одна живая душа! — скомандовал им лейтенант, когда они разбивались на группы, подходя к селу.

И они понимали, что от этого зависит успех всего дела.

Немцы в разных местах вели себя по-разному. Кое-где они решили защищаться по хатам, кое-где в переполохе выбегали во двор в одном белье, но с винтовками и запасом патронов. Полуголые, они выскакивали на трескучий мороз, припадали за углами сараев, за плетнями и упорно стреляли.

— Не путайтесь под ногами, не путайтесь! — пскрикивал Сергей на баб, которые вдруг появлялись, как из-под земли, вырастали повсюду, попадая прямо под перекрестный огонь.

— Товарищи, у меня в хате шестеро немцев, шестеро немцев! Скорей! — Пельчариха тащила за шинель красноармейца.

— Где это?

— Да ты только иди, уж я тебе покажу, хата близенько, тут рядом,— упрасивала она, будто расхваливая хорошую квартиру.

Они побежали за ней, но тотчас увидели, что дело не так просто. Их встретил убийственный огонь. Здесь тоже были вырублены бойницы в стенах, и из них вырывалась смерть.

Пельчариха припала к земле вместе с бойцами. Молодой паренек рядом с ней схватился рукой за грудь и со стоном опустил голову на свою винтовку.

— Ни к чему это, ребята! — крикнула она.— Этак они вас по одному выбьют, а сами будут в хате сидеть! Подожгите хату!

— Это твоя хата?

— Моя, чья же еще? Поджигайте, поджигайте!

— В хате никого нет?

Пельчариха сжала кулак.

— Ребенок... Старшие-то выскочили, а там... в люльке...

— Ну, так как же? Спятила ты, баба, что ли?

Она схватила красноармейца за рукав.

— Ничего, родимый, ничего! Не пропадать же вам всем из-за моего ребенка. Я мать, я тебе говорю — поджигай хату!

— Опомнись, мать! Что ты!

— Подожди хату! Я не жалею, чего же тебе-то. А может спасем? Ну вот, видишь!

Второй красноармеец торопливо перевязывал платком руку. На платке большими пятнами проступала кровь.

Бойцы не слушали Пельчариху, но она, причитая, все уговаривала, цепляясь за их шинели.

— Да не путайся ты тут, убьют! Не видишь, как стреляют?

— Кому надо в старую бабу стрелять...

В одном из отверстий винтовка умолкла.

— Вот видите! Только стрелять как следует — и все будет хорошо!

— Эй, ребята, а что если через крышу? С той стороны через крышу?

— Ну вот, это другое дело! А то подожди да подожди! Где это? Веди!

Несколько человек остались, продолжая стрелять с удвоенной энергией. Остальные побежали за Пельчарихой.

Через несколько минут в хате все было кончено.

— Не стреляйте! — крикнула Пельчариха, широко распахивая дверь. — Не стреляйте!

Бойцы вскочили. В хате лежали мертвые немцы, один лицом на пулемете, другие заколотые штыками.

— Смотри-ка, Сережа, прямо в лоб...

Стрелок с гордостью осмотрел свою работу.

Да, немец был убит наповал. Пельчариха бросилась к люльке.

— Убили,— сказала она мертвым, глухим голосом.

Они взглянули. Маленькое тельце безжизненно лежало на руках женщины, головка была разбита. Люлька залита кровью.

— Должно быть, заплакал он в люльке, и они его прикладом, сволочи...

Как бесчувственная стояла Пельчариха с мертвым ребенком на руках и покачивала легкое тельце.

— Вот... А вы не хотели поджигать... Ребенка не жалели мертвеного... Из-за него двоих ранило...

— Тише, мать, тише...

— Да ведь я не плачу, родимый, я не плачу. Ружье вот дали бы вы мне...

Стрельба на селе понемногу стихала. Схватка продолжалась только у комендатуры. Небо уже бледнело, месяц в радужном ободке таял в вышине, таяли и радужные столбы, стоявшие по обе стороны его. Воздух сливался с безграничной голубизной, весь мир стал словно стеклянный шар, наполненный льдом. В серебро и голубизну врывались лишь красные огоньки беспрестанно гремевших у комендатуры выстрелов.

— Этак мы не справимся, ребята... Гранаты бы швырнуть в окно, может, ставни не такие уж крепкие.

— А как подойдешь-то? Палят, как сумасшедшие...

Действительно, из бойниц в стенах лился поток огня.

Непрерывно трещали выстрелы, снег взвивался маленькими облачками в сотне мест сразу.

— Светает,— беспокойно сказал Шалов, оглядывая светлеющее небо.

Далеко на небосклоне уже виднелась розовая полоса. Борьба затянулась дольше, чем он ожидал. Наступит день, на дороге могут появиться немецкие отряды, подоспеть неожиданные подкрепления. Все, что происходило под покровом ночи, могло остаться незамеченным. День

освобождал немцев от страха перед неизвестным, позволяя им выходить, двигаться. Если где-нибудь интересуются этим отрядом, а им наверняка интересуются, то обратят внимание на отсутствие телефонной связи, пошлют людей, начнут искать. День поможет немцам.

— Ну, ребята...

— Ничего не выходит, товарищ лейтенант... Тут год можно просидеть. Вот если бы гранату бросить!

— Что ж, надо попробовать, — вдруг сказал Сергей.

— Как тут попробуешь?

— Ничего, я попробую...

Он далеко, стороной обошел дом и пополз, подкрадываясь из-за угла, оттуда, где не было бойниц в стенах. Красноармейцы прервали стрельбу, опасаясь попасть в него.

— Что он выдумал? — волновался Шалов. Но Сергей полз спокойно.

В холодном полумраке рассвета было видно, как там, в темной дыре бойницы, движется дуло винтовки, как оно ищет цель, как упорно бьет, сея смерть.

И вдруг Сергей поднялся. Прежде чем они поняли, что происходит, он вырос между ними и изрыгающей смерть бойницей, выпрямился во весь рост и стремительным движением бросил в окно связку гранат. Все зазвенело, загрохотало, заволокло дымом. Взвился огонь. Человек перед окном словно повис в воздухе. Казалось, что он падает бесконечно долго — его высокая фигура выделялась на огненном фоне. Потом он пошатнулся и медленно опустился на землю.

— Вперед! — скомандовал Шалов.

Они бросились к дому. Пулемет в бойнице молчал, залитый кровью, молчали пулеметчики. Гранаты сделали свое дело.

— Вперед, ребята!

Они осыпали дом градом пуль и ринулись внутрь сквозь

развороченную гранатами стену, рая руки о выбитые стекла. Языки пламени лизали толстые бревна.

— Там же наши! Там наши! — пронзительно закричала Малючиха.

Только сейчас все вспомнили о заложниках. А они сидели в темной комнате, стояли у стен, приложив к ним уши. Они не спали, когда раздался первый выстрел, и все сразу слышали его, как удар собственного сердца. Они переждали секунду. Но за первым выстрелом последовал второй. Нет, сомнений не было — это не случайный выстрел часового.

— Наши,— высоким срывающимся голосом сказала Чечориха.

— Наши,— прошептала Ольга.

Одна Маланя не двинулась с места, продолжая стеклянными глазами смотреть во тьму.

— У церкви стреляют,— заметил Евдоким.

— У ихней батареи...

Выстрел раздался у самой стены. Ольга завизжала.

— А ты потише! Здесь они, здесь...

Они сидели, как в западне. Их окружала тьма, ничего не было видно. А за стеной стреляли, бегали, кипела свалка, а они ничего не видели, ничего не знали.

«Пришибут нас немцы, пока наши подспеют», — подумал Грохач, но ничего не сказал, чтобы не напугать женщин. Он с волнением прислушивался к тому, что происходит за дверью. Но мгновение спустя они слышали, как грохают в дверь приклады, топают в соседней комнате люди. Грохач стал бить кулаком в дверь.

— Ребята! Выпустите нас! Выпустите нас!

Но за стеной продолжались шум и топот, никто не слышал его криков.

— Ну-ка, бабы, помогите, а то не слышат! До каких это пор мы будем здесь сидеть?

Ольга подскочила и стала упорно бить кулаком в стену. За ней Чечориха.

— Ребята! Выпустите!

За стеной продолжались шум, крики, пальба. Никто не отвечал на отчаянный зов заключенных.

— Крепче, бабы, услышат же в конце концов...

— Что же это, неужели в селе никто им не скажет? Забыли про нас, что ли?

Снова загрохотали кулаки, но одновременно снаружи раздался топот. Повидимому, бойцы выбегали из дома. На мгновение воцарилась тишина. Заключенным показалось, что перед ними разверзлась бездна, что надежда на спасение исчезла.

— Что это? — глухо спросил Евдоким. — Наши уходят?

— Ох! — зарыдала Ольга.

— Молчи, глупая! А вы тоже, старый, а глупый! С другой стороны пытаются, не слышите, что ли?

Они умолкли. Шум и выстрелы доносились с удвоенной силой с другой стороны.

— С улицы хотят взять...

— Чей это пулемет бьет?

— Немецкий... А теперь наш, слыпишь?

Сбившись в кучку, они с волнением прислушивались. Только Малаша сидела неподвижно, словно ее не трогало все происходившее.

— Ох, боже ты мой, боже милостивый, — вздыхал Евдоким.

Грохач оглянулся на него:

— Ты что, молиться собираешься?

— А нусть молиться, если хочет, — вступилась за старика Чечориха. — Мешает это вам, что ли?

Евдоким опустил на колени перед дверью и дрожащим, старческим голосом начал:

— ...от глады, труса¹, мора и вражеского нашествия спаси, господи...

Грохач пожал плечами. За стеной гремели выстрелы, и

¹ Трус — землетрясение.

вдруг послышался страшный грохот. Все задрожало, словно дом падал.

— А-аах! — пронзительно вскрикнула Ольга.

Раздались голоса. Шум усилился. Где-то совсем поблизости раздался страшный женский крик. И почти одновременно опять загрохали приклады.

— От дверей! От дверей! — скомандовал Грохач.

Они отступили. Дверь рухнула.

Им показалось, что в темноту ворвался светлый день. Соседнюю комнату уже освещал бледный рассвет, пронзенный красными языками пламени. Запыхавшись, ворвалась Малючиха.

— Наши, наши! Выходите! — кричала она, плача и смеясь, хватая за рукав Чечориху. — Дети у меня, живые, здоровые... Наши в селе! Наши в селе!

— Потише, бабы! — прикрикнул на них Грохач. — Дайте выйти!

Малаша одним прыжком поднялась с земли и без единого слова выбежала из дому. На пороге сидел молодой боец и перевязывал себе ногу. Уверенным движением она схватила лежавшую около него немецкую винтовку.

— Да ты что? — он протянул руку, но отдернул ее под страшным взглядом полубезумных черных глаз.

— Тьфу, сумасшедшая...

— А ты уступи ей, — вмешался Грохач. — Мало ли тут немецких винтовок?

За домом поднялся крик:

— Удрал! Немец удрал!

* * *

Капитан Вернер чуть не задохся от дыма. От беспреданной стрельбы в наглухо запертом доме стало совершенно темно. Дым душил, ел глаза. Стволы винтовок раскалились. Назойливо стонал раненый солдат у стены. Вернеру хотелось обернуться и выстрелить ему прямо в лицо, но он ни на минуту не мог оторваться от своего автомата. В комнате вповалку валялись раненые. Вернер

чувствовал, что живым ему отсюда не уйти. Его захватили врасплох, глупо, неожиданно, в момент, когда это казалось ему совершенно невозможным. Да, там, в штабе, помнили только о хлебе, о сале, этого они требовали без конца. Но обезопасить дорогу в деревню — им и в голову это не пришло. Они дрожали перед партизанами, постоянно говорили об этих партизанах, но не знали, что делается вокруг, не знали большевистских позиций.

Капитан ничего не понимал — по всем данным фронт был далеко, очень далеко, — и вдруг немецкая комендантура окружена не партизанами, что могло бы случиться и в глубоком тылу, а регулярным войском, отрядом Красной Армии. Хлеб, будет вам теперь хлеб!

Раненый стонал все пронзительнее, ему попало в живот. Вот, черт побери, неужели никто не слышит, что здесь делается, не слышит этого кромешного ада, который тут разразился? У него шумело и гудело в ушах, ему казалось, что у него сейчас лопнет голова. До каких гор это может продолжаться? Провода перерезаны, никакой возможности связаться с кем-нибудь. Он слышал, как утихают выстрелы в деревне, слышал, как все шумнее становится на площади у комендатуры. Повидимому, его отряд уже перебит и комендантура — последняя обороняющаяся позиция.

Вдруг пол под его ногами задрожал, оглушительный взрыв потряс черный от дыма воздух. Воздушная волна отбросила его далеко к стене. Раздались крики. Ставни упали, и он понял, что в окно бросили связку гранат. Взвились языки пламени. Вернер почувствовал болезненный укол в плече. На полу валялись клочья мяса, руки, ноги. Нет, здесь больше делать нечего. С быстротой молнии он кинулся в соседнее помещение. Здесь было спокойнее. Небольшой чулан имел только одну бойницу, и пулеметчик без передышки нажимал гашетку, стреляя в пространство, хотя никто уже не отвечал ему — видимо, с этой стороны все ушли. Вернер одним движением выхватил засов. Став-

ни с шумом распахнулись. Окно вылетело под ударом его кулака. Капитан выскочил на снег, даже не поглядев, нет ли там кого-нибудь, не возьмут ли его сразу на мушку. Он захлебнулся чистым ледяным воздухом, ослепленный утренним блеском снега и неба. Позади слышались топот, крики, — видимо, красноармейцы ворвались в дом. Огромными прыжками он помчался к первому попавшемуся строению, к сараю Малуков.

Вдруг на его пути, как из-под земли, выросла Малаша. Держа за дуло винтовку, она внезапным движением кинулась к нему. Вернер совсем близко увидел ее смуглое лицо и горящие глаза. Огромные, черные. Растрепанные волосы развевались вокруг этого лица, страшного и вдохновенного. Со всего размаха крепких рук Малаша занесла над головой винтовку. Вернер молниеносно прицелился. Раздался выстрел, и в то же мгновение со страшной силой приклад опустился на его голову. Он застонал и повалился навзничь. Проломлен нос, раздроблены лобные кости, кровь заливала его лицо. Он захлебывался кровью, она заливала ему горло, глаза, густой волной клочкотала в глотке. Вернер задыхался.

В двух шагах от него лежала Малаша. Она услышала выстрел одновременно с треском и скрежетом раздробленной кости. Пулю в своем теле она ощутила, как счастье. В живот, вот так и надо было, в живот. Больно не было. Нет, это была не боль, это было именно счастье. Счастливая улыбка появилась на ее губах. Выражение, которое целый месяц накладывало на ее лицо холодную маску старости, бесследно исчезло. Она лежала с раскинутыми руками, лицом к небу, черноглазая, смуглая Малаша, самая красивая девушка в селе. Она еще сжимала в руке винтовку, но все уже было далеко от нее, уплывало в радужном блеске, в лазури ледяного утра, в искрящемся снеге, на который падали первые лучи солнца.

Эти первые лучи разбудили радугу. Ее бледный полукруг виднелся на небе всю ночь, но лишь в виде белова-

той неясной полосы, едва заметной в глубине неба. Теперь солнце насытило ее блеском, теплом, цветом, и она заиграла на небе чистейшим светом, нежными, как цветочный пух, красками. Она переливалась розовыми лепестками, лиловела ранней весенней сиренью, зеленела свежей зеленью салата, играла оттенками фиолетовых колокольчиков, ярким пурпуром розы, золотом лепестков горьцвета. Ее пронизывал теплый прозрачный блеск, немеркнущий свет.

Глаза Малаши устремились на эту радугу, на сияющий полукруг, высоко раскинувшийся по небу. Уходила жизнь, вытекала из тела вместе с кровью. Костенели пальцы, холодели ноги, застывало тело. А счастливые глаза смотрели на радужный круг, на сияющую дорогу, проложенную из конца в конец по далекому небу. Светлая тропка, ведущая неведомо куда, радостная дорожка во все светлеющей, все более насыщаемой солнцем лазури. Она шла по радужной тропинке, Малаша, красивейшая девушка в селе, лучшая работница в колхозе. Это о ней писали в газетах, для нее зацветали любовью летние ночи.

Не было больше ни снега, ни мороза. Под головой шелестело сено, душистое сено, полное цветов. Журчала вода, где-то совсем близко булькала, била ключом свежая вода. Благоухали луга, издали доносилось пение, пели девушки, смеялись ребята, звучала в ночной тиши гармоника. Глаза поискали в небе радугу, — но нет, какая же радуга, ведь это летняя ночь, радостно смеется Иван, вот у самого ее лица его глаза, серые глаза под черными бровями. Образ тускнел, его застилал ночной мрак. А ведь радуга была, только что была радуга. Захотелось увидеть ее еще раз, насытить глаза ее блеском.

Малаша с трудом приподнялась на локте. Дикая, нечеловеческая боль пронизала ее, и она снова упала на снег. Почувствовала, что умирает, поняла, что умирает, и ее руки затрепетали в воздухе, пытаясь схватить цветную

денту, раскинувшуюся в небе радуго. Но пальцы поймали уже только тьму. Глаза остеклянели, устремившись в небо. Из-за полуоткрытых губ блеснули ровные белые зубы, и лицо застыло в странном выражении, в улыбке, полной муки.

* * *

Шум за хатами усилился — это бабы вели пойманных немцев. Терпилиха отрыла беглеца в собственном хлеву. Бросив винтовку, он вбежал в открытую дверь и спрятался под охапкой соломы в углу. Его выдали следы на снегу. Терпилиха не стала звать на помощь красноармейцев, — она сама с обеими дочерьми Грохача, вооружившись вилами и граблями, осторожно вошла в хлев.

— Эй, фриц, вылезай! Погоди-ка, Фрося, вон он в солому зарылся...

— Не толкайтесь, сейчас я его нащупаю вилами!

— От стенки, от стенки заходи, а то еще выстрелит, сволочь...

Осажденный вояка не понимал слов, по сквозь солому разглядел занесенные вилы. Он торопливо вылез, отряхивая с себя солому. На нем висели лохмотья порванного мундира, голова была обмотана дамским трико ядовитого фиолетового цвета.

— Вот так кавалер, поглядите-ка, девушки! Ну, двигайся, двигайся...

Испуганный немец поспешно направился к выходу. На пороге он споткнулся.

— Гляди, как ползет... Выше, выше копыта поднимай! Фроська, посмотри-ка, нет ли там винтовки в соломе? Пригодится...

Девушка тщательно обыскала угол.

— Нету, видно, раньше где-то бросил.

— Вот герой. А сапожки-то на нем, фу-ты ну-ты! — заметила Терпилиха.

Ноги немца были обернуты тряпками.

— Ноги-то, видно, отморожены, вон как тащится.

— Никто его сюда не звал, сидел бы дома, да грелся у печки, сколько влезет... Так нет, нашей земли ему захотелось!

На улицу сбегался народ.

— Откуда ты его взяла, Терпилиха?

— Хо-хо, смотрите-ка!

— А вам что? Не видите, пленного веду? А вы бы лучше тоже поискали по сараям, да хлевам, чем глаза-то таращить. Они теперь расползлись, как тараканы, надо их выловить всех!

— Правильно говорит, — заметил хромой Александр. — Ну-ка, бабы, понщем, не забрались ли они куда.

Все разбежались, хватая вилы, лопаты, топоры.

— Вместе пойдем, вместе!

— Кучей веселей!

— Ого, Фрося боится, как бы на немца не наступить...

— Коли надо, я так наступлю, что он и не пикнет!

— Ну, ну, бабы, — успокаивал их Александр, — поменьше болтайте.

Они пошли всей толпой от хаты к хате. Перетряхивали солому в овинах, заглядывали в хлева. Дети путались под ногами, лезли во все углы, весело визжали. Прибежал запыхавшийся Саша:

— У нас в хлеву немец!

Толкая друг друга, все кинулись туда и с гордостью вывели трясущегося от страха фрица. Красноармейцы, которые тоже обыскивали село, улыбались, встречая баб, но те знали все углы и закоулки, и поэтому их поиски были успешнее.

— Ну что, ребята, у кого больше пленных?

— У вас, у вас, — смеясь, признавали бойцы.

— Где их комендант? — волновался Шалов. — Понщите, ребята, неужели сбежал?

Они осмотрели убитых немцев. Фельдфебель, солдаты.

— Капитана, ищите капитана!

А Вернер лежал в глубоком снегу за сараями. Один глаз вытек, выбитый ударом приклада. Но другой смотрел прямо в раскинувшееся над головой небо. Невыносимая боль разрывала голову. Казалось, что по ней неустанно бьет огромный молот, так что сыплются красные, рыжие, пурпурные искры. В глазу, которого уже не было, бушевало пламя, горло заливало кровью. Вернер торопливо глотал, глотал ее, захлебывался, а она все текла, словно из неисчерпаемого источника, из какого-то бездонного колодца, и приходилось все глотать, глотать. Он понимал, что иначе она задушит его, зальет эта приторная жидкость. Горло болело, он уже не мог глотать нормально, мучительные судороги гортани сотрясали все тело. Он чувствовал, что замерзает, что неизбежно замерзнет, если его сейчас же не найдут, не помогут ему. И содрогнулся. Кто поможет ему? Мужики, проклятые мужики из этого проклятого села. Его охватил ужас, вдруг он не умрет и попадет мужикам на вилы или в плен к большевикам? Ветеру было тихо, стрельба прекратилась. Он не обманывал себя, понимая, что его отряд перебит, что те победили. Отчаянные когти впились в сердце. Его, его, капитана Вернера, захватили врасплох эти хамы в серых шинелях. Как это могло случиться?

Он устремил единственный глаз в далекую лазурь, словно ища там ответа. И тут он увидел радугу: огромный полукруг, раскинувшийся из конца в конец горизонта, сверкавшую ленту, связывавшую небо с землей. Сияли мягкие, насыщенные светом краски. В отуманенной голове блеснуло воспоминание: где это он видел такую радугу? Ах да, перед этой выюгой... Как тогда сказала баба? Она подтвердила, что радуга—доброе предзнаменование.

Капитан Вернер застонал. Радуга смеялась радостным блеском. Она была добрым предзнаменованием — не для него. Радуга радостно сияла, но он уже не видел ее, погруженный во мрак.

Их хоронили на площади у церкви. И тех, что погибли этой ночью, и тех, что уже месяц лежали в снегу в овраге.

Федосья Кравчук сама помогала перенести тело сына. Она поддерживала неподвижную, странно легкую голову, чувствуя на пальцах мягкие волосы. Без боли, без горечи смотрела она в черное, словно вырезанное из дерева, лицо. Вот Вася и дождался. Братские руки выкопали его из снега, братья хоронят его в братской могиле. Сани медленно двигались по крутому склону оврага. Федосья шла рядом, поддерживая тело сына, чтобы оно не соскользнуло, не упало на снег. Осторожным, материнским движением она поправляла тела тех, других, незнакомых, что лежали рядом с Васей.

— Девушку похоронить вместе с ними, — распорядился Шалов. — Она погибла в борьбе, как боец.

— Она уже женщина, у нее муж в армии, — сказала Малючиха, но когда принесли тело Малаши, Малючихе показалось, что она ошиблась. На снегу лежала девушка, молоденькая девушка. Такая, какой она ее помнила год назад, до того, как была сыграна шумная свадьба.

— Красавица, — тихо сказал кто-то из красноармейцев.

Да, это была она, Малаша, красивейшая девушка села. На щеки падала тень от длинных ресниц. Волосы мягкими волнами разметались вокруг лица. Черные брови, как ласточкины крылья, лежали на ровном, чистом лбу. На лице застыла страдальческая улыбка, улыбка, от которой нельзя было оторвать глаз.

Осторожно сняли с виселицы тело Левонюка. Левонючиха чувствовала уже первые родовые схватки, но не согласилась остаться дома. Она осторожно приняла в объятия заочневшее черное тело сына, которое месяц качалось на виселице среди снега и выюги.

— Тихонечко, тихонечко, — говорила она, словно он мог еще что-то чувствовать, словно ему еще можно было причинить боль.

Девушки помогли ей. Он был легок, почти невесом, и его шестнадцатилетнее лицо казалось теперь вырезанным из дерева лицом ребенка.

Выкопали могилу, широкую, просторную, и положили их всех рядом. Окоченелые, почерневшие трупы тех, что погибли месяц назад, и растерзанные останки Сергея Раченко, и Сердюка, который словно спал, и молоденького стрелка, погибшего у комендатуры, и Малаши. Говорил от имени всех товарищей Шалов. Суровые и простые слова далеко разносились в чистом воздухе, неслись к стеклянному небу в радужном поясе.

Все село — женщины, старики, дети — стояли вокруг могилы и слушали, глядя вниз, где один возле другого рядом лежали бойцы Красной Армии и Малаша. Никто не плакал. Все стояли строгие, обнажив головы. Федосья Кравчук отдавала родной земле останки единственного сына. Отдавала земле тело дочери старая Шариха. Остальные были незнакомые — но всем казалось, что в могильной яме лежат их сыновья, мужья, братья.

В этот день ни у кого не было более близких людей, чем эти погибшие, глядевшие мертвыми лицами в небо. Это были бойцы Красной Армии. Их армии.

— Родина никогда не забудет, — растроганным голосом говорил Шалов.

Да, они знали, что никогда не забудут своих избавителей. Что в их памяти навсегда останутся лица погибших и этот день, когда они предавали их земле. Общая могила соединила тех, что погибли, отступая под ураганным огнем неприятеля, покидая село, и тех, что пришли его освободить и вырвали его из рук врага.

Спокойны были взоры людей. Да, это была война. Кровью, огнем и железом обрушилась она на село. Но все здесь были полны непоколебимой веры, поддерживавшей село в самые страшные, в самые черные дни. Веры в то, что они придут, что последнее слово будет за ними. Шалов наклонился, взял комочек смерзшейся земли и бросил в

могилу. И все, один за другим, стали наклоняться, чтобы бросить в могильную яму горсть родной земли. Пусть им спокойно спится в могиле. Пусть они чувствуют на сердце родную землю, свободную родную землю.

— Брось и ты, Нюра, брось,— обратилась мать к двухлетней девочке.

Ребенок взял горсточку земли и осторожно бросил вниз. Детские ручки выкапывали из-под снега темную землю и сталкивали ее вниз. Бойцы работали лопатами. Наконец яма сравнялась с землей. Над могилой вырос холмик.

— Весной посадим цветы,— сказала Малычиха.

— Зеленую траву посеем,— прибавила Фрося.— Из каждого двора рассады принесем.

Они медленно расходились. Не было печали в сердцах, а лишь торжественная серьезность. Они погибли за свою землю. Так и раньше бывало, хотя бы и в восемнадцатом году, и все это помнили. Мало ли тогда народу погибло и из их села? Таков уж порядок вещей, что землю защищают своей кровью и жизнью люди, выросшие из этой земли и живущие на этой земле. И это просто и ясно. Расходились в молчаньи, но уже минуту спустя в селе отовсюду доносился шум и разговоры. Женщины зазывали красноармейцев к себе, каждой хотелось, чтоб и у нее остановились бойцы. Угостить их, накормить, обогреть:

К Шалову отправилась целая делегация.

— Товарищ командир, у нас к вам просьба,— начала Терпилиха.— Хотелось бы угостить своих, а нечем...

Он рассмеялся:

— Что ж я тут могу поделать?

— Да у нас бы нашлось чем, только вы нам помогите... У нас все закопано, спрятано в землю. Когда немцы подходили, мы попрятали. А как же теперь откопать? У нас нечем, земля, как камень. А у вас инструменты есть, вы дали бы красноармейцев, они откопали бы в два счета.

— Что ж, давайте. Эй, ребята, кто хочет помочь?

Добровольцев нашлось достаточно. Женщины, прова-
ливаясь по пояе в снег, отправились в поля.

— Здесь, вот у этого кустика...

— Что вы говорите, мама! Вот с этой стороны, с этой!

— А ты не вмешивайся, мал еще! Не помню я, что ли?

— Овечку зарежьте, ничего овечка, сварите в котле,
будет что поесть, — уговаривал своих постояльцев хромой
Александр.

— Да ведь у вас всего одна?

— Одна... Было больше, да немцы порезали. Только эта
и осталась.

— Неужто мы у вас последнюю овцу заберем? Нет, так
не годится!

Он умоляюще сложил руки:

— Сыночки, не обижайте вы меня. Я от всего сердца
даю, от всей души. Чем же я вас угошу? Только эта овца
и осталась... Вы уже не отказывайтесь, не обижайте...

Бабы вытаскивали из тайников, с чердаков, из подпола
все, что у них было. Сало зарезанных еще осенью свиней,
связки чеснока, которого немцы не трогали, бутылки
меда, даже семечки. Торопливо доили коров, — у кого
уцелели, — чтобы отнести молока раненым.

Раненые разместились в двух комнатах сельсовета. Там
уже суетилась, ко всеобщей зависти, Фрося, которая ко-
гда-то окончила санитарные курсы. Важничая, она бегала
из комнаты в комнату в белом фартуке и белой косынке,
крепко стягивавшей волосы. Женщины и девушки стол-
пились у дверей.

— А вам чего? — бросил им на ходу молодой веселый
врач, который ночью вместе с бойцами брал комендатуру,
а теперь как раз заканчивал перевязку.

— Помочь хотим... в лазарете...

— Что ж тут помогать? Все уже сделано, двух деву-
шек я принял, санитары у нас есть...

— Пол бы вымыть, грязно тут...

— Пол? Пол, пожалуй, действительно хорошо бы вымыть.

Они кинулись по домам и вскоре явились целой толпой с ведрами, тряпками.

— Что это вы, вдесятером пол мыть будете?

Шопотом, чтобы не помешать раненым, они принялись ссориться между собой. Наконец, разделили полы, и каждая стала мыть свой кусочек.

— У раненого одеяло падает, а ты не видишь,— резко сказала Фросе Пызнчиха.

— Падает, так поправьте,— огрызнулась девушка, проходя с тазом, полным кровавой воды.

Пызнчиха подошла к кровати и медленно, старательно покрыла раненому ноги, расправила одеяло. И так уж не отходила больше от раненых.

— А вы здесь что делаете? — заметил ее врач.

— Одеяла поправляю. Одеяла с них падают,— ответила она с достоинством, поправляя раненому подушку.

Он махнул рукой:

— Ну поправляйте, если вам уж так хочется.

Да, ей очень хотелось. Всем хотелось. Хоть чуточку приложить руки, хоть чем-нибудь помочь им. Подать воды, вымыть кружку, выстирать портянки, отвести волосы со лба, присмотреть, чтобы кто не оставил дверь открытой, не напустил холоду.

В комнату робко протиснулась Лида Гүохац.

— Тоже хотите помогать? — спросил врач.

Она покачала головой:

— Женщина у нас рождает... Не зайдете ли, вы ведь доктор...

— Вот тебе на! Я же хирург...

— Да это ничего, все равно ведь доктор. Очень уж мучается. Утром-то она немцев вытаскивала за ноги из хаты, ну, схватки и начались...

— Что ж, делать нечего, надо итти,— весело решил

врач.— Новый гражданин рождается, надо помочь. Раньше-ших оставляю на тебя, Кузьма. Ну, где это?

Лида торопливо повела его к хате Левонюков. Потирая озябшие руки, он шел за ней.

— Вы бы варежки надели, такой мороз!

— Да вот, были варежки, а ночью пропали... Обронил, что ли. Теперь остался без варежек.

Она робко взглянула на него, потом быстро стащила с рук толстые косматые перчатки собственной работы, вышитые по краям красными и голубыми цветами.

— Что вы, что вы! — защищался он.— С чем же вы-то останетесь?

— У меня есть другие,— солгала она.— Я хорошо спрятала, немцы не нашли, а вы ведь доктор, вам руки нужны.

Заметив, что у нее дрожат губы и она готова расплакаться, он засмеялся:

— Ну, раз вы такая упрямая, давайте!

В сенях у Левонюков толпились бабы. Они быстро расступились перед врачом. Они уже знали его, знали, кто это.

— А ребенок уже родился,— заметила одна.

— Так что я здесь и не нужен?

— Нет, вы все же загляните к ней, загляните, очень уж долго она мучилась, совсем ослабла.

— Вот, тетушка, я вам доктора привела,— объявила Лида.

— Что ты, что ты, зачем доктор? Такой молоденький,— удивилась больная.— Вы вот ребенка посмотрите, а со мной ничего не сделается, что я, в первый раз, что ли, рожаю?

Он наклонился над люлькой:

— Мальчик?

— Мальчик, мальчик. У меня только одна девочка, Нюрка, а то все мальчики... Такой уж у нас род...

— Молодец-мальчик. Как же вы его назовете, а?

— Да мы уж тут с бабами говорили.. Я было хотела Митей назвать, по старшему брату, да, говорят, нехорошо это...

— А что с братом?

— Да ведь его брата, старшего моего, хоронили сегодня вместе со всеми... Месяц на виселице висел сын-то мой, а сегодня я его сама сняла, — спокойно объяснила женщина.

Врач смутился:

— Я не знал, что это ваш сын...

— Мой, самый старший, как же... К партизанам пробирался, ну, поймали его немцы... Самый старший, семнадцатый год ему пошел. Я и хотела назвать маленького, как и его, Митей. А они не советуют, говорят, не надо, так я уж теперь и сама не знаю, как...

— Назовите Виктором, — посоветовал врач. — Победитель значит. Как раз сегодня родился, вот и назовите победителем...

Она подумала мгновение.

— Ну, если это значит победитель, пусть будет Виктор. Как, Лида, а?

— Раз вам так советуют...

— Что тут долго думать! Во всем селе ни одного Виктора нет. Пусть будет Виктор. Да вы присядьте, присядьте, посидите с нами.

— Спасибо, мне возвращаться надо, раненые ждут.

— Вы уж всех перевязали, бабы говорят. Посидите минутку. У всех в хатах красноармейцы, а у меня, как я родить собралась, никого... А ты, Лида, достань спирт из шкафчика, там стоит бутылочка.

— Вам, может, лучше не пить, — робко пробормотал врач.

Она улыбнулась:

— Почему же это? Вы, как раненых лечить, учены, а бабьего нутра, видно, не понимаете. Стопочка спирту хоть кого на ноги поставит.

Он не возражал больше. Лида налила спирту в толстый зеленоватый стакан.

— За новорожденного, чтобы рос здоровый...

— Чтобы никогда в жизни немцев в хате не увидел.

— Чтобы с его рождения каждый день обозначался новой победой.

— Чтобы вырос таким, как Митя...

Врач смертельно устал, не выспался, и спирт разлился по его телу волной приятного тепла, ударил в голову. Он сидел на лавке, и ему казалось, что война, борьба остались где-то далеко, далеко. Приятно белели стены хаты, ярко выделялись на печке цветы и вышитые полотенца по углам. Хорошенькая Лида улыбалась ему. И все было так, словно за несколько хат отсюда не лежали раненые, словно не вырос могильный холм на площади у церкви, словно не было того страшного пути, которым он шел с первого дня войны.

— Лида, покажи-ка доктору карточку, она там за иконой, покажи...

Врач взял в руки выцветший снимок. На него заодно смотрело мальчишечье лицо, простое, обыкновенное лицо деревенского паренька.

— На морозе-то он так изменился, что и не узнаешь. А раньше вон какой был,— спокойно объясняла мать.

И врач вспомнил свою мать. Ее дрожащие белые руки, когда она прощалась с ним, ее срывающийся голос, ее большие потемневшие от волнения глаза. Вспомнились ночи, полные тяжких размышлений, и страх, которого он не мог преодолеть, страх перед каждым новым транспортом раненых, перед кровью, страданием, смертью. «Нервы»,— говорил он себе в таких случаях, но это не помогало. Нервы оставались нервами и давали себя чувствовать все назойливее. Вместо того чтобы окрепнуть за время войны, они расшатывались все сильнее.

Он взглянул на роженицу. Она лежала, откинувшись на клетчатую розовую подушку. Гладко причесанные волосы

обрамляли спокойное лицо. Целый месяц эта женщина слушала вой ветра, раскачивавшего тело ее старшего сына. Целый месяц она с детьми умирала от голода и страха. Беременная, она несла к могильной яме снятое с виселицы тело шестнадцатилетнего сына, а потом пошла рожать. И вот она спокойно разговаривает с ним, угощает его последними каплями спирта, который ей удалось утаить от немцев.

Бабы из сеней перешли в горницу и расселись по скамьям и табуреткам. Он украдкой рассматривал их. Все они жили под немецким игом, под немецким кнутом. Их мужья и сыновья далеко, на фронте. Ни одна из них не знает, живы ли ее близкие, или их уже нет. Все они пережили морозы этой страшной зимы, голод, который принесли с собой немцы, у многих на теле были кровоподтеки от ударов приклада. Но все это надо было знать, заметить что-нибудь по их поведению было невозможно. Лица были спокойные, ясные, полные достоинства, вытекающего из каких-то затаенных источников, из самой сокровенной глубины сердца.

«Крестьянки», — подумал он, и это слово приобрело теперь для него какую-то новую окраску, новое значение.

— Был бы еще спирт, мы бы еще выпили, помянули Митю, — тихо сказала Левонючиха.

— Ну, чего там, — резко вмешалась Терпилиха. — Помнить мы его и так будем, и без помнюк. Правда, бабы?

— Как же не помнить!

— А на место его Виктор есть. Будет расти, как Митя, и работать как следует, а если понадобится, и жизнь за родину отдаст, как Митя.

Спиртные пары окутывали мозг легким, приятным туманом. Хотелось сказать этим женщинам что-то хорошее, приятное, и вместе с тем сердце сжималось от несказанной жалости к погибшему на виселице мальчику, к мате-

ри, которая сама вынимала его из петли, от жалости ко всем им, пережившим такие муки.

— Ты пьян,— сказал он себе сурово, но это не помогло, и глаза его застлало слезами.

— Что это, что с вами? — забеспокоилась Лида.

— Жалко,— с трудом пробормотал он, стараясь овладеть собой.

Левонючиха внимательно взглянула на него умными темными глазами.

— Нечего жалеть, не такое время, чтобы жалеть,— сказала она тихо.— Нет Мити, есть Виктор. Народ у нас крепкий, из земли вырос... Сруби грушу — оглянуться не успеешь, как из земли новая поросль попрут, к солнцу потянется... Мити нет, нет и других, но земля осталась, и народ остался... Нам тоже не раз думалось, что, покаждемся, всех перебьют. А все же дождались... Народ все перенесет... Нет, он не по зубам немцам, наш народ.

Туман перед глазами редел, рассеивался. Эта крестьянка отвечала на все трудные, запутанные мысли, которые столько раз мучили врача, отвечала просто, спокойно, по-крестьянски. И ему стало стыдно.

— Да, да...

— А вы молоденький, вам и тяжело. Ничего, кончится все это, будете жить спокойно, больных лечить, а мы — свое дело делать...

Он вскочил, вспомнив, что засиделся.

По селу раздавались голоса. Где-то на задах, не глядя на мороз, пели девушки. К ним присоединялись мужские голоса. Песня разливалась в ледяном воздухе, в чистой лазури, не тревожимой ни малейшим дуновением ветра. Песня неслась ввысь, звенела жаворонком, словно в награду за целый месяц молчания, которое гробовым саваном лежало над селом.

Лежить нелюбий на правій рученці,
Боюсь його розбудити...—

высокими голосами вытягивали девушки. Их поддерживали сильные голоса красноармейцев.

С ранних лет привыкало село к песне. Песней приветствовало зарю, песней прощалось с уходящим днем, с песней укладывалось на ночь. Звонящая песня помогала собирать пшеницу с поля, помогала сгребать пахучее сено, помогала детям пасти коров, мужчинам — молотить. Под звуки песен девушка шла замуж, и песнями прощались с умершими, с отходящими в землю. Песни были и тоскливые, — прежние, более старые, чем придорожные ляпы, — и радостные, новые, рождающиеся из переживаемой минуты. Люди привыкли соединять песню с жизнью и жизнь с песней.

Целый месяц молчали уста, целый месяц ни разу не сорвалась с них, ни разу не зазвучала здесь песня. Молчали хаты, молчала дорога, молчали сады.

А теперь снова можно было петь. И девушки распелись на все село, на все далекие снежные равнины, распевали родную, близкую, вырывающуюся из сердца песню. Песни текли одна за другой. И над оврагом, и у дороги, и на площади, и перед сельсоветом, где хромой Александр, взобравшись на лестницу, прибывал большую вывеску: «Сельский совет». Дети стояли толпой и, задрав головы, глазели на знакомую надпись, знакомые буквы. Внутри торопливо убрали следы ночного боя. Заделывали досками отверстия в стенах, прорубленные немцами, выносили мешки с песком. Бабы, отплеываясь, смывали с пола немецкую кровь.

— Чтоб до вечера и следа не осталось, — сказала одна, и все горячо поддакнули.

Именно этого страстно хотелось всем — чтобы в первый же день, еще до захода солнца, до наступления ночи, не осталось в селе и следа тридцатидневного немецкого господства. Кто-то по собственному почину разрушал виселицу на площади, тщетно пытаясь выкопать столбы из замерзшей земли, уже кто-то тащил пилу, чтобы спилить

их вровень с землей, уже бабы поспешно белили запущенные хаты, выносили из сеней, лопатами и вилами выбрасывали немецкий навоз. Работа кипела, как во время страды.

— Чтoб и следа не осталось,— говорили бабы, отмывая полы, забеливая стены.

— Чтoбы и следа не осталось,— повторяли за ними дети, собирая обломки железа, пустые гильзы, лоскутья немецких мундиров у комендатуры и на батарее.

Красноармейцы, бредя по пояс в снегу, торопливо тянули телефонные провода, лейтенант Шалов устанавливал связь. В помещении школы шел допрос немецких пленных. Людям страшно хотелось послушать, но они понимали — дело военное, путаться нельзя.

— Няньчатся с ними,— волновалась Терпилиха,— вопросы, допросы! За сарай бы их — и пулю в лоб!

— Много вы понимаете! Надо же все выпытать у них, а то что же это?

— Пу пускай, а потом уж обязательно пулю в лоб!

— Пленным-то? Кто же пленнх кончает?

Терпилиху словно ножом кольнули.

— Ну и выдумала! Пленные! Ты видела, что они с нашими пленными делают? Пленные! Я бы их в смоле варила, шкуру бы с них сдирала! А мы ничего, вежливенько заперли их, только и всего!

— Это уж не от нас,— упиралась Пельчариха.— Такой уж военный закон — пленнх оставлять в живых...

— Военный закон, военный закон! Какие теперь военные законы? Это, может, в ту войну они были, а не теперь. А это военный закон — детей убивать, людей мучить?

Та вздохнула:

— Чтo ты мне-то рассказываешь, знаешь ведь сама, что они со мной сделали.

— То-то я и слушаю, что это ты так за военный закон заступаешься. Военный закон для бойцов, а это разве бойцы? Фрицы вшивые!

Пельчариха не ответила. Она и сама думала так же — так думали все. Но было стыдно делать что-нибудь так же, как немцы.

— Посидит у нас, отъестся на наших хлебах, а потом живой и здоровый поедет домой! Как в сберегательной кассе войну пересидит! — волновалась Терпилиха.

— Лейтенант, уж он распорядится как надо, — вмешался в бабьи споры Александр.

— Да разве я что говорю? Я за лейтенанта распорядиться не собираюсь...

— Этого только не хватало, — буркнул Александр и заковылял домой, чтобы намалевать еще одну вывеску: «Школа». Конечно, так красиво, как было раньше, ему не намалевать, но это ничего, лишь бы стереть следы немецких лап, лишь бы вернуть селу прежний вид.

И вдруг в звеневший песнями воздух, в чистую ясную лазурь ворвался перекатывающийся грохот. Песня умолкла словно вбитая в землю. Дети у хат окаменели.

— Что это?

Грохот повторился, оглушительный, гудящий. Небо-склон загремел пальбой.

— Пушки стреляют...

— Это в Охабах, в той стороне...

— В Зеленцах...

— Наши стреляют?

Они прислушивались. Гремела артиллерийская пальба, перекатывалось долгое эхо выстрелов. Все притихли.

— Что там еще такое?

— Бой идет...

— Наши орудия бьют, наши...

— А ты откуда так разбираешься в артиллерии?

— Я же слышу, звук оттуда идет, от наших.

Они всматривались в лица красноармейцев, но те были спокойны.

— Наши, наши бьют, надо клин расширить.

— Какой такой клин?

— Да вот, мы тут прошли, а сзади и по сторонам остались немцы.

— Ну вот, я сразу сказала — клин! — оживилась Терпилиха.

— Ничего ты, тетка, не говорила.

— Да ты что? Не слышал, так нечего и мудрить! Я сразу говорила — клин... Всякому понятно, все ведь знают, что в Охабах еще немцы...

— Теперь только погляди, как фрицы побегут...

— Сюда? — испугалась Ольга Паланчук.

— А хоть и сюда! — Терпилиха воинственно уперлась руками в бока. — Уж мы их здесь встретим, мы их встретим!

— На что им сюда переть? Там есть другая дорога, прямо на запад.

— Если который живой уйдет...

Они слушали. Где-то далеко шел бой, гремели орудия. Расширился клин, вбитый в немецкие позиции.

Лейтенант Шалов допрашивал немцев. Они стояли перед ним в теплой комнате и тряслись, дрожали мелкой, нервной дрожью. Он смотрел на них, худых, оборванных, в нарывах, в зловонных гноящихся болячках. В комнате было тепло, и их невыносимо кусали вши, они украдкой чесались, не сводя глаз с командира. Из всего гарнизона капитана Вернера осталось пять человек.

— Надо отправить их в тыл, что тут с ними делать, — решил Шалов.

— Отправить? — поморщился коренастый парень. — На месте бы их, товарищ лейтенант...

— Что ты там болтаешь?

— Жаль им конвой давать, бойцов мучить. Тащись с ними по снегу...

— Пошли ко мне сержанта, — распорядился Шалов, не вдаваясь в пререкания.

Он вышел в сени передохнуть. Он целый час пробыл в одном помещении с пленными, и ему казалось теперь, что

по нем ползают вши, что к нему пристала грязь, что форма па нем пропитана отвратительным запахом давно не мытых, покрытых нарывами тел.

Шалов полной грудью вдыхал морозный воздух. Лазурь смеялась солнечным блеском, нескрилась от крепкого, упрямого мороза. От дальних хат доносилась песня, и Шалов заслушался звучного напева, ласкового, задорного, взращенного ветром далеких степей, шумом буйных вод, бегущих в море, широким простором. В песне звучало далекое эхо казачьего клича над днепровскими порогами, тоска хлопцев-молодцов в турецкой неволе, стук конских копыт по дальним трактам. Девушки пели, и казалось, поет все село, глядя на ослепительное, золотое солнце на морозном небе.

Красноармейцы вывели из дому пленных. Вокруг немедленно собралась толпа. Немцы ежились под взглядами баб, втягивали головы в плечи, дрожа от холода.

— Отправляете их? — враждебно спросила Терпилиха.

— Отправляю-в ~~ш~~аб, — сказал Шалов, оглядывая кучку немцев в ~~за~~борванных зеленоватых шинелях.

— Это тот, это тот, что вешал Левонюка! — закричала вдруг Пельчариха.

Бабы бросились вперед:

— Который, который?

— Вон тот, рыжий, смотрите, все же, все видели! Тот, высокий! — кричала она.

— Правда, он и есть...

Пленных окружали все теснее. Женщины напирали, показывая пальцами на высокого немца с выбившимися из-под шапки рыжими волосами. Он понял, что говорят о нем, и отступил за спины товарищей.

— Ишь, прячется! Товарищ лейтенант, вот этот парня вешал!

— Какой там парень! Мнтьке не больше шестнадцати лет было! Ребенка вешал, сволочь!

— Эй, бабы, чего тут долго разговаривать! Возьмемся-ка за него сами,— командовала Терпилиха.

Красноармейцы неуверенно оглядывались кругом.

— Да постоит, гражданка, что вы тут выделяете? — рассердился Шалов.— Отойдите, прошу вас!

— Товарищ командир, не уйдет он живым отсюда! Прикончим мы его, и все будет в порядке! — настойчиво требовала Терпилиха.

Немец, видимо, понял, в чем дело. Его трясло, зубы у него стучали.

— Порядки здесь навожу я, а не вы,— сурово сказал Шалов.

Из толпы выдвинулась Федосья Кравчук:

— И что ты, Горпина, не в свое дело суешься? Что ты путаешься, куда не просят? Бойню устроить захотелось, мало здесь мертвых было! Думаешь, умнее тебя и судьи нет?

Терпилиха отступила на шаг и смотрела на Федосью во все глаза, не понимая, чего та хочет.

— Прикончить его хочешь? Легкой смертью, а? Минутка, две — и кончено? За Левонюка, за наших детей, за всех загубленных он двумя минутками расплатится? Нет, пусть поживет, пусть дождется своей судьбы, пусть до конца ее выпьет, до последней капли! Пусть вернется в свою землю и посмотрит, как им всем придется отвечать за все, за все! Не за одного Левонюка!

— Правильно говорит,— сказала Пельчариха.

— Верно, Федосья! — раздались голоса.

— Одно тебе скажу, Горпина, кто из них сейчас умирает, большой выигрывает выигрывает! Нет, ты дай ему посмотреть, как их войско назад покатится, как они будут бежать, подыхать с голоду, валяться в степи, как из-за каждого кустика, из каждого лесочка будут выскакивать на них люди с вилами, с топорами! Как они будут подыхать в канавах и никто им капли воды не подаст! Пусть видит, пусть смотрит, как его города и села ветер развевает,

как на их месте останется один пепел да крапива! Дай же ты ему дожидаться, чтобы его собственная баба прокляла, чтоб от него родные дети отреклись! А ты ему хочешь легкую смерть подарить? Глупая ты, Горпина, хоть и старая. Умереть легко, но он-то пусть живет, пусть сто лет живет! Пусть молит смерть, чтобы она пришла, а она не придет, пусть и смерть отвернется от немецкой падали!

Она захлебнулась словами и умолкла, прижимая руки к сердцу.

— Правду говоришь, Федосья! — поддержала ее Пельчариха, и круг баб расступился.

Два красноармейца вывели пленных на дорогу. Терпилиха стояла на месте и смотрела им вслед.

— Э-эх! — Она отчаянно махнула рукой. — Посмотреть на вас, бабы, можно подумать, — нивесть какие лютые, а как у вас быстро злость проходит...

— По-твоему выходит, Федосья Кравчук не лютая?

— Непонятен мне ее разговор. Я по-своему, попросту.

Она вдруг умолкла и прислушалась.

— Чудится мне или то в самом деле из пушек стрелять перестали?

Пузыриха тоже прислушалась.

— И верно тихо. Там все уж давно утихло, а мы тут из-за этих пленных такой гвалт подняли, что и не заметили.

— Отчего же это может быть? Бой кончился или что еще? Надо бы расспросить, только кто это может знать?

— Командир, наверно, знает.

Но не только женщины обратили внимание на внезапную тишину, которая воцарилась там, вдали, где чернели первые леса. Шалов ежеминутно вбегал в комнату, — там не отходил от провода дежурный.

— Звони, звони! Не отзываются?

— Не слышать!

— Пошлите на линию, не испортилось ли где. А ты звони, звони...

Наконец телефон зазвонил. Красноармеец быстро записывал.

— Ну, что там?

— Наши взяли Охабы и Зеленцы!

Шалов вышел на улицу. Первой, кто попалась ему па глаза, была Терпилиха.

— Наши взяли Охабы и Зеленцы!

Она всплеснула руками:

— Потому это там и утихло?

— Потому.

Она подхватила юбку и бегом кинулась вдогонку Пузырихе.

— Слынишь, Наталка? Наши взяли Охабы и Зеленцы! Сам лейтенант сказал... Как только телефон позвонил, он сейчас вышел и говорит мне: наши взяли Охабы и Зеленцы.

— Взяли!.. — сказала Пузыриха высоким, звенящим голосом.

— Да ведь я тебе сразу говорила, — только затихло, я и говорила, что, видно, бой кончился.

— А как кончился, ты и не знала...

— Чего тут не знать? Как ему еще кончиться? Погнали немцев, расширили клин, вот и все! Понимаешь?

— Больно ты ученая стала в военных делах!

А телефон в доме все звонил и звонил, Шалов громко кричал в трубку:

— Где? В каком направлении?

В селе все закипело. Торопливо сбегались красноармейцы.

— Куда это, куда? — волновались бабы.

— Получен приказ. Двигаемся дальше.

— Куда дальше?

— На запад, мать!

Женщины расстроились. Это показалось им неправдоподобным. Федосья Кравчук подошла к лейтенанту:

— Как же так? Борщ поспеваает, вы еще и не поели как следует...

— Ничего, мать. Мы не голодны. Пришел приказ — вперед! А мой борщ другие съедят, сюда идет другая часть, они тут будут стоять гарнизоном, их уж угостите...

Бойцы торопливо собирались, оставляя ложку в миске, недоеденный ломоть хлеба.

— Ох, ребята, погостили бы у нас еще денек-другой, — вздыхали бабы.

— Спасибо! Нам некогда. К вам другие придут, а мы пойдем! Там нас ждут!

— Конечно, ждут, — вздыхали женщины и выходили на улицу, где строился отряд.

Провожать высыпали старые и малые. Женщины вздыхали, некоторые всхлипывали. Соня Лиман кинулась на шею молоденькому красноармейцу, со слезами цепляясь за него.

— Ну и Сонька! Нашла себе, успела, — смеялись бабы.

— А парень ничего, брови-то какие!

Лейтенант Шалов поспешно вышел из дому. Отряд был уже построен.

— Вперед, шагом марш!

— Будьте здоровы! Благополучно вернуться! Воюйте хорошенько! — кричали в толпе.

Снег закрипел под ногами двинувшегося отряда. По обочине, стараясь попасть в ногу бойцам, бежали дети, спешили женщины, подбирая длинные юбки.

Бойцы, не торопясь, дошли до небольшого пригорка и здесь остановились.

Далеко-далеко на запад тянулась ослепительно белая снежная равнина. Вдали на чистом небе темнела узкая полоска дыма — это догорала несчастная Леваневка, село, которое с четырех концов подожгли немцы. Пожар уже не раз погасал, но огонь вновь и вновь разгорался на пепелище, и тогда чистую лазурь снова заволакивал темный дым.

Лейтенант Шалов с пригорка глядел на запад. Перед ним расстилалась снежная равнина, необъятная земля, украинские степи под немецким ярмом. Туда, на запад, простиралась Украина — в крови, в пламени, с задущенной на устах песней, с грудью, растерзанной немецким сапогом, раздавленная, оплеванная, закованная в цепи. Неустрашимая, борющаяся, негибкая.

И вот он увидел, как по небу ясной, четкой дорогой, сияющим путем раскинулась радуга, яркая полоса, переливающаяся светом и красками цветочного духа, и бледно-розовым шиповником и алой розой, бледной сиренью и фиалками. Пылало золото лепестков подсолнуха и дрожала зелень едва распустившихся березовых листьев. Все пронизывал мягкий, ясный блеск. Радуга тянулась с востока на запад, связывая пылающей лентой землю с небесами.

Шалов обернулся к своему отряду.

— За мной, шагом марш!

Ровным, широким шагом они двинулись вперед. Провожавшие остались на пригорке. Все молчали. Отряд уходил по дороге в безграничную даль, ослепительно белой равнины, в сияние радуги.

Красноармейцы уходили к видневшимся вдали струйкам дыма над сожженной Леваневкой, к прикорнувшим в снежных сугробах селам. Сжимая в руках винтовки, они шли в украинскую землю, растоптанную, задущенную немецким ярмом. Непобедимую, борющуюся, негибкую.

Люди молчали, до боли, до слез напрягая зрение, чтобы видеть их подольше, подольше. Пока боевой отряд не растял в лазурной дали, в снежном пространстве, в стоцветном, всепоглощающем блеске радуги.

К о н е ц

Подписано к печати 11/V 1945 г.
Л5643. Тираж 200.000. Заказ 409.

Типография газеты «Правда»
имени Сталина.

Москва, ул. «Правды», 24.
